

Марлена РАХЛИНА

Роман
в стихах

Собрание
стихотворений

CF FOLIO



Марлена Рахлина
Собрание стихотворений.
Роман в стихах (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18396276

Собрание стихотворений. Роман в стихах (сборник): Фолио; Харьков;

2015

ISBN 978-966-03-7301-3

Аннотация

Вниманию читателя предлагается собрание избранных стихотворений замечательного поэта второй половины XX века Марлены Рахлиной (1925–2010) и ее роман в стихах «Филфак», ранее не публиковавшийся. В таком объеме стихи М. Рахлиной собраны впервые. Роман «Филфак» живо воссоздает атмосферу послевоенного времени прошлого столетия и, в частности, филологического факультета Харьковского университета 1944–1949 гг., в его героях-студентах легко узнать Бориса Чичибабина, Ларису Богораз, Юлия Даниэля и саму Марлену Рахлину.

Содержание

Марлена Рахлина	12
Яна Галаган	14
Виктор Маринчак	28
Отдельные сохранившиеся стихи	51
Поэзия	51
Гроза	52
Предчувствие	53
Отрывки из поэмы	55
Первый отрывок	55
Второй отрывок	56
Третий отрывок	57
«Я боюсь, что, полюбивши...»	60
«Снова вечер холодный, ясный...»	61
«Они наказаны за дело...»	62
Братские могилы	63
Сверстникам	64
«Через остатки рухнувших громад...»	64
«...А я была в мои пятнадцать лет...»	65
«...Лежит никем не пройденный еще...»	66
«Не будь, о ветер, так упряма...»	67
«А я сегодня на год постарела...»	69
«Это было все наяву...»	71
«Милый друг! От себя ли мы скроем...»	72

«Комната мраком наполнится...»	74
«Снилось мне, что, тиха и грустна...»	75
Сирени	76
Гимн ямбу	78
«Тому назад немало дней...»	79
«Нежный, путаный, сумасшедший...»	80
«Может быть, я нашла искомое...»	81
«От жара зелень стала тусклой...»	82
Эта зима	83
«Дождь и звонкое ненастье...»	83
Ночь	83
«Когда мы будем счастливы ошибкой...»	84
Ответ	85
Ушел – и ладно	86
Весна	86
Весенняя зима	87
Антирелигиозные стихи	89
Ожидание	91
«Совсем измучась и отчаясь...»	91
«Ну что мне зелень, что мне лето...»	91
«Любимый мой! Я не тоскую...»	92
Зима	93
Поединок	95
Оттепель	95
Ночлег	96
Льжи	96

Кровь	97
Кто?	98
Никому нет дела...	98
Опоминаясь...	99
Путаница	99
Победа	100
Ничего не было	101
Сердце – во-вторых	101
И Вы!	102
Раскаянье	103
Поединок	104
Прощай	104
«Холодные волны, соленые волны...»	106
Довольно!	106
Душа одна...	107
Вслед циклу «Поединок»	109
1	109
2	109
Из любви и беды	111
Движение	111
Отрывки из поэмы	113
Первый отрывок	113
Второй отрывок	114
«Из любви и беды, постепенно...»	116
«Зимний полдень, вечер летний...»	117
Радость	118

Подругам	119
Ода стирке	121
«Когда руки мои стихнут...»	122
Таянье снегов	124
«Под голубыми небесами...»	125
Как отдать?	127
Наивность	129
Время сеять...	131
Баллада о нас, ваших детях	132
Не просила!	134
Моему читателю	136
«...А мозг живет отдельно...»	137
Два стихотворения о себе	139
1	139
2	140
«Нет благодати мне. Слова мои глухи...»	142
Разговор с моей судьбой	143
«Зачем глядишь так пристально?..»	144
««В этой маленькой корзинке...»	145
Сине море	146
«На сером снеге – черный грач...»	147
«Кто сказал, что мечта воспаленная...»	148
«Когда кромсаешь ты, звеня...»	149
Никогда	150
«Умная и хитрая душа...»	150
«Я не зову любовью чувство...»	151

«Кругом шумят сады...»	152
«Большая дорога. Сияющий снег...»	153
«Желтеют листья, всходит озимь...»	153
«Все та же комната: те же стены, и те же окна...»	154
«Никогда, никогда, никогда...»	155
«Ты ушел далеко и надолго...»	155
«Прощальные каракули...»	156
«На улице покой ненастья...»	157
«Не хотелось мне день начинать...»	158
«Ах, сила бродит, сила бродит...»	159
«Будет буря!...»	159
«Зову я смерть. Не потому...»	160
«То радостный буйствует разум...»	161
«В осенний вечер комнаты глухи...»	161
«Закон я знаю радостный и древний...»	162
Любовь	163
Дилетанты	164
I	164
II	165
Дидактический романс	167
«А ларчик просто открывался...»	169
Сказка с диалогом	170
«Нет, хоть убей, не понимаю...»	172
Как я опаздываю на автобус	173
Вечер	175

Дети	176
Кукла	178
Осторожно! дети!	180
Ребенка древние глаза	182
В доме моем...	183
Торг	185
Зима	187
Весна	189
Лето	191
Осень	193
Чужое горе	194
«Что – с малостью жизни моей...»	195
Правда	196
Новочеркасск	198
Русская сказка в трех частях	199
«Живет народ, не тужит...»	199
«Живет народ, не тужит...»	200
«Тут рады ли, не рады...»	201
Сказка о силе и соломе	202
Лермонтов	203
Люблю некрасова	205
Спор об искусстве	206
1	206
2	207
3	208
Тактика	210

Виталию брохштуту	211
Биография	212
Леше Пугачеву	214
«Встревожено...»	214
«Вчерашняя прачка...»	215
Стихи о терпении	217
«Я осторожна и не очень...»	217
«За плотно закрытой, обитой...»	218
«Я вспыхнула в последний раз...»	218
«Все голо. Мир, ты нелюбим...»	219
«Вся юность отдана тебе, пространство...»	220
«Храни свой разум. Да пребудет светлым...»	221
Предсказание	222
Все – как было	224
«Не ждите верности...»	226
«Вот два моря, вот берег коричневых щек, и упругий...»	227
«Мой долгий день! Он начался...»	228
Случай	230
«Страна, где каждый сам за себя»	232
«Глазами, по мне скучающими...»	232
«Я говорю Вам братски...»	232
«Небитых двух за битого...»	233
«Ты прав: зачем опять твердить, что молод...»	234

«Прощайте! Ну, прощайте!..»	234
«Меняю кожу, как змея...»	236
«Да» или «нет»	237
«Куда тебя запрятали...»	238
Робость	239
Поехали, поехали...	241
О нежности к друзьям	243
Растерянность	245
Конец ознакомительного фрагмента.	247

Марлена Рахлина
Собрание стихотворений.
Роман в стихах

© Е. Е. Захаров, право наследник, составление, 2015

* * *

Марлена Рахлина

Автобиография (2002)

Я родилась в 1925 г. в Санкт-Петербурге. В 1936 г. семья переехала в Харьков и тогда же родителей, коммунистов с 18 лет, исключили из партии. В 1950 их посадили за то же самое, за что исключили. Вернувшись, они рано умерли.

В 1944 году поступила на филологический факультет Харьковского университета. Там я познакомилась с Борисом Чичибабиным. Мы с ним, как тогда это называлось, «дружили» (век назад сказали бы – «были помолвлены»). Через год Бориса посадили на пять лет, и я трижды ездила к нему в Вятлаг. Дружба с ним продолжалась до его смерти, хотя – только дружба. В университете же я нашла ближайших, на всю жизнь, друзей – Юлия Даниэля и Ларису Богораз. После окончания университета всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы – сначала в сельских школах, затем в Харькове. Была замужем, в 2000 г. овдовела. Имею двух детей, двух внуков и правнучку.

Стихи начала писать в 12 лет. Но писала их «платонически», не думая о публикации. На излете «оттепели» напечатала две книжки. В 1968 г. это все кончилось (мне рассказали, что на меня написали донос братья-поэты, что я переписываюсь с врагом народа Даниэлем, и поэтому меня нельзя

печатать). Трижды публиковалась в «Континенте» (№№ 30, 36, 62), в «Русской мысли». Начиная с 1990 г., я выпустила пять книг стихов и еще книгу переводов «Златокудрая красавица» из гениального украинского поэта Василя Стуса. Дальнейшие же переводы его стихов входят в мои планы, как говорил Лев Толстой – Е. Б. Ж.

Яна Галаган

Биографический очерк

Марлена Давидовна Рахлина родилась 29 августа 1925 года в Ленинграде. Она была первым ребенком у Давида Моисеевича Рахлина (1902–1958) и Блюмы Абрамовны Маргулис (1902–1964). Искренние коммунисты, они даже имя своей дочке дали в честь Маркса и Ленина. Вот что пишет поэт об этом: *«Я не люблю своего имени: любой мало-мальски осведомленный человек сможет сразу прочесть в нем судьбу – и нашу и, тем более, наших родителей: конечно, схематически, конечно, с вариантами. Наш вариант не самый страшный (хотя для нас он страшен вполне достаточно!)».*

Любимая всеми, Марлена росла покладистым, добрым и веселым ребенком. Главным ее воспитателем был Петербург, его «центр, Невский проспект, берега Невы, Адмиралтейство, церкви и соборы, Летний сад, Зимний Дворец, Площадь – все это живое и стройное, навсегда оставшееся в душе ребенка в виде ее основы и залога». Красота Петербурга, его соборы и церкви повлияли на религиозные чувства: *«Я поняла лет в девять, что Бог есть, приняла я эту религию свою без сомнений, в ее христианской модификации... Молилась, крестилась, молитвы выдумывала сама».*

Большую часть времени Марлена проводила за чтением

книг. Она рано научилась читать. Любовь к художественному слову ей привил отец, который сам писал стихи, великолепно знал и любил русскую поэзию от Пушкина до Блока и Маяковского. В доме была большая библиотека, и девочка читала книги запоем.

В 1936 году родителей ее исключили из партии. Отца – якобы за троцкизм, мать – якобы за зиновьевщину. Перед тем отца перевели из Военно-политической академии им. Толмачева в Харьковскую военно-хозяйственную академию. Семья переезжает в Харьков. Благодаря переезду, родителей тогда не арестовали, хотя многие товарищи и родственники уже были в лагерях.

Ключевым моментом, перевернувшим жизнь Марлены, стал эпизод, когда она из любопытства прочитала письмо отцу, пришедшее на казенном бланке: *«Для восстановления вас в партии не находим оснований. Постарайтесь честной работой снова...»*. Марлена Рахлина пишет: *«Как сильно я чувствую, как бесповоротно помню тот миг. Он был решительным. Именно там, на этой точке начался весь мой путь, и он вел меня через все, что было и что случилось, и привел туда, где я сейчас. Много произошло за это время с моей душой, но все – ясное и темное, торжественное и будничное, понятное и странное – все проистекло из этой точки – с этого вечера»*.

С шестого класса Марлена решила упорядочить свое чтение. Она составила себе списки русской и зарубежной

классики для последовательного хронологического чтения. К 15 годам она проработала всю русскую классику, а зарубежную так последовательно читать не получилось.

Увлечение музыкой также явилось важным фактором становления ее как поэта. Марлена обладала несомненным музыкальным дарованием, она всегда очень любила петь. По воспоминаниям брата Феликса, она могла целый день петь арии, романсы и песни не только домашним слушателям, но и по телефону школьным друзьям. Но самым сильным увлечением было занятие художественным словом. В 8 классе она поступает в студию художественного слова Дворца пионеров, которую ведет педагог А. И. Михальская.

Наступил 1941 год. Окончен 8 класс. Началась война. Марлена с классом поехала на сельхозработы в с. Одноровка Золочевского района. Домой она вернулась в конце лета. Харьков до начала сентября не бомбили. Жизнь казалась относительно спокойной. И только 4 сентября произошла первая бомбежка города. Бомба упала настолько близко, что сидящую на скамейке Марлену сбросило взрывной волной на тротуар. Бомбежки стали привычным атрибутом жизни.

29 сентября дети с матерью эвакуируются из Харькова. Семья прожила в эвакуации два с половиной года, меняя несколько мест. Последним таким местом для Марлены был Златоуст. Это был небольшой провинциальный городок, «пыльный, грязный, без зелени». Сразу же по приезду Мар-

лена устраивается ученицей на работу в экспресс-лабораторию 2-ого сталелитейного цеха. После двухмесячного учебного стажа Марлена становится лаборантом. В ноябре 1942 года она решила продолжать учебу в школе. Чтобы совмещать работу и учебу, пришлось попроситься работать в ночную смену, и ей предложили перейти в препараторный отдел. Из воспоминаний: *«Пальцы мои закалились до того, что я не обжигалась, хватая горячее с плиты. После дома часа два, я шла в школу, и очень редко выкраивалось время поспать вечером. Я помню очень туманно какой-то холерический период без сна и без особых страданий по этому поводу»*. В то время она уже регулярно писала стихи.

В феврале-марте 1944 года семья возвращается в Харьков. Марлена поступила на филологический факультет университета. Первый год учебы проходил прекрасно. Ей легко дается учеба. Ее стихи везде приняты. После занятий Марлена посещает литстудию при Союзе Писателей. Она открывает для себя Пастернака и Ахматову, затем Волошина, Анненского, Андрея Белого и Сашу Черного, Мандельштама и Цветаеву. Окончательно складывается ее стиль. Появляются новые студенческие товарищи. Некоторые стали друзьями М. Рахлиной на всю жизнь – это Иосиф Гольденберг, Лариса Богораз, Юлий Даниэль и другие. Ее стихи ценят и хвалят харьковские литераторы: критик Григорий Гельфандбейн, поэты Лев Галкин, Марк Черняков, Игорь Муратов, а в Киеве – «старейшина русских поэтов Украины» Ни-

колай Ушаков.

На втором году учебы произошла встреча с Борисом Чичибабиным. Прочитав его стихотворения, Марлена сразу поняла, что судьба свела ее с настоящим, талантливым поэтом. Очень скоро они стали очень близкими друзьями, не расставались. Борис был влюблен, собирался жениться, готовился сдать экзамены за два года, чтобы дальше учиться вместе.

Летом Бориса арестовали. У Марлены началась новая жизнь. Она пыталась выручить его, надеялась на заступничество литераторов, но те были бессильны ей помочь. Тогда она пошла в КГБ с наивной надеждой, что там разберутся и поймут, что арестовали честного комсомольца. Бориса увезли в Москву. В 1946 году Чичибабин получает за стихи 5 лет Вятлага. Почти все друзья и знакомые старались обойти ее стороной. К ней домой приходили только Иосиф Гольденберг и Станислав Славич. А она, вопреки уговорам родителей, боявшихся за судьбу дочери, трижды ездила к Борису в лагерь.

Настал новый учебный год. Он принес другую беду в жизнь Марлены. Начались гонения на писателей и поэтов. В газетах напечатали постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» (1946), ужесточившее идеологический диктат и контроль над советской интеллигенцией, введенной в заблуждение раскрепощающим духом всенародного единства во время войны. Среди них была великий поэт Анна Ахматова. На всех филологических факультетах

стали проходить комсомольские собрания, на которых нужно было каяться в «ахматовских грехах». Это было настолько противно и мерзко, что когда очередь доходит до нее, она говорит, что ей не в чем каяться и просит отпустить ее с собрания, мотивируя это тем, что является председателем Литстудии Союза, собрание которой должно начаться через 20 минут. После этого начинается самая настоящая травля. По воспоминаниям брата Феликса, «... Её клевали, как могли, перемывая косточки в различных идеологических докладах, вставляя „примеры“ о ней в выступления и статьи. Например, третий секретарь обкома партии Румянцев, характеризуя одно из её стихотворений, утверждал, что „автор стремится уйти от жизни куда угодно – даже в гарем“». Ей припомнили и поездки в лагерь к жениху, «антисоветчику» Б. Чичибабину. Были угрозы исключить из комсомола. Но судьба оказалась благосклонна к ней в этот раз. Травлю прекратил секретарь партбюро университета факультета профессор-генетик Илья Поляков, как будто сказавший: «Да оставьте вы девчонку в покое!».

На 5 курсе Марлена работает над дипломной работой. Тему работы она выбирает сама: «Из наблюдений над языком ранней поэзии Н. А. Тихонова». Руководителем стал замечательный преподаватель, профессор А. М. Финкель. Они становятся друзьями. Эта дружба продолжалась вплоть до смерти профессора. На госэкзамене произошло еще одно столкновение Марлены с советской системой. Марлена не за-

хотела кривить душой и отвечать на билет в соответствии со «спущенной» из ЦК ВКП(б) конъюнктурной новой «партийной» трактовкой истории русской литературы. Скандал замяли, но тройку по русской литературе поставили.

После университета Марлену направили по распределению в село Берестовенька Красноградского района Харьковской области. В сельской школе она проработала два учебных года с 1949 по 1951. Свою работу она очень любила и чувствовала себя человеком, делающим свое дело. Дети отвечали ей взаимностью.

8 августа 1950 года в один день арестовали родителей. Родителей по статье 58–10 приговорили к десятилетнему сроку в лагерях, отца – за частичную поддержку в 1923 г. на партсобрании троцкистской резолюции, мать – за уход с партсобрания по призыву ректора коммунистического университета в Ленинграде – сторонника Зиновьева. Наступил еще один переломный этап в ее жизни, когда она остается совсем одна, без помощи и поддержки друзей. С этого момента она решает принципиально не писать стихи. Этот перерыв в творчестве длился до 1956 года.

Вернувшись в Харьков, Марлена устроилась в вечернюю школу на поселке ХТЗ. Жила она вместе с братом и бабушкой в маленькой комнатухе на ул. Лермонтовской, 10. Сюда брату пришлось переехать, чтобы сохранить городскую прописку сестре. А 7 ноября она встретилась со своим будущим мужем Ефимом Юльевичем Захаровым. И это

был по-настоящему счастливый брак. Ефим Юльевич и Марлена Давидовна прожили в своем счастливом супружестве 49 лет. Марлена посвятила мужу много стихов. А познакомила их сестра Ефима Раиса Юльевна Нефедова, преподававшая историю в той же школе. Сначала она много рассказывает о своем младшем брате, соученике Марлены из параллельного класса 82-й школы, приносит школьную фотографию. А потом приглашает Марлену в себе гости. Уже через 3 недели после знакомства Ефим переезжает жить на Лермонтовскую. Свадьбу играют в июле. В 1952 году у них родился сын Евгений. Когда сыну исполнилось 3 месяца, Марлена Давидовна возобновила работу в школе. Так прошел год. А в 1954 году семья уезжает из Харькова. На несколько лет их постоянным местом жительства стал город Белополье Сумской области, куда Ефима Юльевича отправили «по призыву партии укреплять сельское хозяйство». Он получил должность главного инженера на межколхозной МТС. Семье выделили сельский дом с палисадником и огородом. Туда к ним вернулась из Потьмы мать в 1955 году – ее, тяжело заболевшую в лагере эпилепсией, актировали по состоянию здоровья. А в 1956 уже в Харьков вернулся из лагеря отец.

Так вновь семья воссоединилась в Харькове. И заново приходится налаживать быт. Марлена Давидовна срочно устраивается на работу в школу в селе Рогани, и переезжает туда с мужем и ребенком. В разгаре этой бытовой неустроенности рождается дочка Александра. Через некоторое вре-

мя Марлена с семьей и родители съезжаются в две комнаты в коммуналке на ул. Подгорной. Но им не суждено было счастливо жить вместе. 7 февраля 1958 года у отца Марлены после долгой и тяжелой болезни случается второй инсульт, и через день он умирает. Ему было всего 55 лет. После его смерти у больной эпилепсией мамы ухудшается здоровье. Через 7 лет, в октябре 1964 года, она скончалась от инфаркта.

В стране наступил период, названный «оттепелью». Прошел XX съезд партии, разоблачивший культ личности Сталина. Начался «поэтический бум». С конца 50-х, на волне массового увлечения поэзией, Марлена Рахлина с успехом читает стихи на поэтических вечерах, посещает литературную студию при Дворце культуры завода ХЭМЗ, на котором работала в течение трёх лет в технической библиотеке. Но только в 1965 году из печати выходит первая книга стихов «Дом для людей». А в 1968 вторая – «Маятник». По воспоминаниям Марлены Давидовны, книги выходили очень тяжело. Далеко не все стихи попали туда в своем первоначальном состоянии. А третью рукопись – «Чего бояться голубям» – уже не опубликовали.

После этого до 1987 года на ее имя негласно был наложен запрет. Она была изолирована от широкого круга читателей. И в какой-то момент она почувствовала себя отверженной. М. Рахлина так объясняет свое положение: *«Смирение паче гордости – так можно назвать, что ли... Я никогда ничего*

не просила в жизни. Ни у кого. И не устраивала. Я настолько привыкла к тому, что печатать не будут, что это абсолютно невозможно для меня, что мне это было совершенно все равно... Я всегда была инакомыслящей, но не всегда об этом знала... От какого бы то ни было огорчения меня спасло безукоризненное чувство отверженности, которое я пронесла нерушимым, видимо, с 37 года, со дня, когда я узнала об исключении родителей из партии. Как по всему выходит, это чувство меня ни разу не обмануло. Я – «другая»! Все, что происходит в жизни нашего искусства и литературы, все, что так близко, так страстно меня касается, – все это как бы не для меня! На этом «празднике» я чужая. Я этим живу, но «оно» не видит меня в упор! Вместе с тем, я знаю, что не ошибаюсь в себе. Я не хватаю через верх, место мое маленькое и скромное, но какое ни есть, оно за мною записано...»

Более 20 лет поэту приходилось писать стихи «в стол». Но читатели-друзья были всегда. За это время произошло много событий. Были вызовы в КГБ, начавшиеся в 1962 году, сперва за чтение «антисоветских» стихов, а позже за их публикацию в парижском журнале «Континент». Особенно не нравилось властям то, что стихи Марлены Давидовны читались по всем «вражеским голосам». Вызовы заканчивались угрозами. Но Марлену Давидовну не посадили, как некоторых ее друзей. Внутренне она была готова к такому повороту событий. В воспоминаниях она пишет, что бы-

ла настроена отсидеть срок, если дадут. Судьба вновь оказалась благосклонной к ней.

Не так повезло ее друзьям. 12 сентября 1965 года арестовали Юлия Даниэля. Процесс Синявского-Даниэля, стал вехой, отмечающей новый поворот курса партийной политики. Он ясно выразил стремление советского руководства вернуться на старую сталинскую тропу. И в то же время он стал первым открытым политическим процессом при советской власти, когда обвиняемые впервые от начала до конца не признавали себя виновными. Они возражали против квалификации их деятельности как антисоветской и требовали уважения к свободе творчества и свободе совести. Лучшие представители советской интеллигенции не захотели снова стать покорными рабами тоталитарного режима и боролись за отмену приговора, посылая обращения в различные государственные органы и к общественности свободного мира. М. Рахлина никогда не изменяла высоким нравственным принципам, неизменно была на стороне преследуемых режимом, всеми возможными способами вставала на их защиту. Хорошо известны ее многочисленные письма в лагерь Юлию Даниэлю. А когда в 1980 году посадили Генриха Алтуняна, в который раз Марлена Давидовна заняла четкую гражданскую позицию. Она писала письма и стихи в своим друзьям в заключении. Тогда сам факт переписки с политзаключенными был актом большого гражданского мужества. Кроме того, Марлена Давидовна постоянно поддерживали их се-

МЫ.

Она писала: *«Главное чувство (во всяком случае, главное для меня) – был стыд. Жить было стыдно, а что-то изменить – было не в моих силах. Оттого и было стыдно! Суровым судом судит поэт не только палачей, но и себя, и молчаливое, покорное большинство, которое десятилетиями терпело, соглашаясь жить и без любви, и без Бога, и без души...»*

В 1971 году Марлена Давидовна ушла из школы рабочей молодежи в исправительно-трудовой колонии, где проработала почти десять лет. Вплоть до ухода на пенсию в 1980 году она работает воспитателем старших классов в детском противотуберкулезном санатории. Специфика работы заключалась в том, что нужно было быть заменять больным детям отсутствующих родителей, это требовало полной отдачи. Все вечера, воскресенья и праздники проводились не со своими родными, а на работе с детишками. Культпоходы, праздники, вечера, дежурства, конкурсы, сценарии, спектакли и стенгазеты... Ученики не просто уважали её, а любили, и, вырастая, становились её друзьями.

За эти 10 лет дети Марлены Давидовны обзавелись семьями, родились внуки Боря и Митя. В 1988 году уехала в США дочка с семьей, а в 1990 году в Израиль – брат Феликс и его семья.

В 1990 году выходит в свет первая бесцензурная книга стихов «Надежда сильнее меня» с предисловием Б. Чичибабина. В 1994 году печатается сборник стихов «Другу

в поколение», в названии которого использованы строчки Е. Баратынского «И как нашёл я друга в поколение, Читателя найду в потомстве я». В предисловии к ней автор писал: *«Мне хотелось сообщить читателю этой книжки свои мысли о том, чем именно мое поколение, которое сейчас уже на исходе жизни, резко отличается от своих отцов и старших братьев...»*

По-моему, разница между нами и ними как раз в том и заключается, что многие из них (в частности, и Пастернак, и тот же Мандельштам) старались (и отчаивались!) хоть во что-то из официальной идеологии – поверить. А мы – никогда! Вернее будет сказать: уже никогда! Из нас выходили либо марксистско-ленинские циники, уже прекрасно знавшие, что им нужно, либо такие (или более-менее такие) люди, как я...»

В 1995 году выходит книга «Потерявшиеся стихи», Марлена Рахлина впервые публикует некоторые стихи 1944–1965 гг., как она написала – ей стало их «жалко».

В 1996 году в издательстве «Око» вышел билингв с переводами на русский язык замечательного украинского поэта Васыля Стуса «Золотокоса красуня».

В 2000 году Марлена Давидовна овдовела.

С конца 90-х годов поэт вновь много пишет, существенно меняется стиль – становится гораздо ближе к живой, разговорной речи. Марлена Рахлина показывает удивительный пример поэтического долголетия. В 2000 году двумя изда-

ниями выходит книга стихов «Октябрь, на июль похожий», в 2001 году – книга «Чаша», в 2006 – книга «Прозрачные слова», в 2008 – книга воспоминаний «Что было – выдали...».

Все это происходит на фоне прогрессирующей тяжелой болезни, к концу 2006 года окончательно уложившей ее в постель. Но физическая немощь не привела к немощи духовной. Ощущение жизни как чуда и счастья не покидает ее до последних дней.

М. Д. Рахлина умерла 5 июня 2010 года. Ее похоронили 7 июня на 2-м городском кладбище. Отпевали в храме Святого Иоанна Богослова, небесного покровителя литераторов, журналистов и философов.

В 2010 году вышел в свет второй билингв Васыля Стуса – «Палімпсести».

Виктор Маринчак

Неназванная скорбь

В 1944 г. девятнадцатилетняя Марлена Рахлина написала стихотворение «Поэзия»:

Жизнь лишь тогда, когда Она опять
дежурит по ночам у изголовья.
А мы не знаем, как ее назвать.
Не памятью. Не мукой. Не любовью.

И сердце с миром затевает спор,
и ждет ее, ликуя и стихая,
и вот она, неназванная скорбь,
приходит и становится стихами.

Согласимся, в этом коротком восьмистишии уже что-то предугадано из того, что станет судьбой поэта. Но есть и то, что требует объяснения. «Она» – это поэзия. И она именуется – «неназванная скорбь». Так ли это? Не полны ли скорбью многие стихи М. Рахлиной в зрелые и поздние годы? Не слишком ли сильным является это утверждение? Многим такое определение поэзии покажется неточным.

Но не будем торопиться с оценками. Обратимся к творчеству поэта и для начала прочтем одно из наиболее тонких

и глубоких ее стихотворений «Прозрачный октябрь»:

Пахнет палым листом, пахнет дымом и горькой травой
и несказанным словом упрямое сердце томится,
и летящие стаи кричат над моей головой:
это осень пришла, то прозрачная осень дымится.

Это листья горят, и спешат умереть и согреть,
это тлеет листва изнутри в своей горькой темнице,
это тлеет листва: всё горит и не может сгореть,
и прозрачной стеной окружает октябрь, и дымится.

Метит белым мороз обреченную землю уже,
над багряным и желтым на синем краснеет денница,
и прозрачен октябрь, и надежда все тлеет в душе.
Пахнет палым листом, и не может сгореть, и дымится.

Безусловно, мы чувствуем здесь присутствие печали. Но о чем мы печалимся, вглядываясь в осенний пейзаж? Разве это названо? Разве это можно назвать? О чем здесь речь – о смерти? Или об увяданьи? Или скорее – о прощании? Названа ли скорбь своим именем? А если и сказано, что «надежда все тлеет в душе... и не может сгореть», можно ли однозначно решить, отчего нам грустно? Оттого, что она всего лишь тлеет? Но ведь она почему-то не может сгореть...

Здесь чувство так и не названо. Представлена картина, которая может вызывать некоторые переживания, слышна интонационная мелодия, бьется толчками ритм – и читатель

чувствует волнение... Ни мука, ни скорбь не названы, не попали в фокус внимания.

Возьмем другое стихотворение – о жизни, о нелегкой доле:

А прошлое, как старый дом.
Там было холодно и тесно,
но все привычно и уместно,
расставлено, хоть и с трудом.

Но близок новый переезд:
вот-вот, с недели на неделю...
А скарб все ветше, груз тяжеле,
все меньше на повозке мест.

Друг милый, потеснись слегка,
ведь что упало, то пропало.
Теперь поедem как попало,
теперь дорога коротка.

Не плачь! Одна у нас беда,
что все ломается, все бьется,
и вовсе в руки не дается,
и ускользает навсегда.

Не плачь! Мы легкою стопой
пройдем пешком пути остаток,
нагие с головы до пяток,
зато... Ну, плачь... Ну, Бог с тобой...

Все в этих стихах как будто условно и символично. Вместе с тем символика эта прозрачна. Так узнаваем этот излом пути, поворотный пункт судьбы, так знакомы эти обстоятельства. И какая пронзительная печаль за всем изображенным... И ни слова о самой печали. Она и здесь, присутствуя, остается неназванной. Она растворилась в стихах, стала ими, через них звучит не наименование ее – мотив, переживание. Так и было сказано в том раннем стихотворении:

И вот она, неназванная скорбь,
приходит и становится стихами.

Можно в этом утверждении искать выражение позиции нравственной, можно – эстетической. Скорее всего, здесь есть и то, и другое. Этика и поэтика едины в той традиции, к которой принадлежит М. Рахлина. Это традиция тютчевской «божественной стыдливости страданья» и «тайной струи страданья» у Пастернака. За этим сдержанность и целомудрие человека, причастного к высокой культуре поведения и общения. За этим свойственное серьезному художнику понимание, что, прямо говоря о скорби, впечатления о ней не создают.

За этим стремление оградить внутренний мир от доминирования в нем темных, негативных, вносящих смятение переживаний, вывести их в соответствующую им часть шкалы эмоций, придать им статус фона, периферии, противоре-

са, но не доминанты в мировосприятии, в переживании бытия. Во внутреннем мире, в поэтической экзистенции в рамках данной традиции должны доминировать ясность, чистота, просветленность, свобода, вдохновение. Способность так переживать бытие, таким видеть мир – своего рода чудо.

Поистине чудо, что мы
живем, не чураясь успеха,
живем среди плача и смеха,
среди лета, а также зимы.

Поистине чудо, что мир,
где столько всего накопилось,
не кончилось и не забылось,
все так же желанен и мил.

А это не чудо ль, что ты,
земля, увлажненная кровью,
с признательностью и любовью
даришь нам хлеба и цветы?

И между тюрьмой и войной
все рады, все сыты, все пьяны,
так желто и красно вино,
так звонки и полны стаканы.

А главное чудо: шутя
и с жизнью чудак расстается.

Не смысля, смеется дитя –
все ведая, старец смеется.

Сама жизнь воспринимается как чудо. И когда желанен и мил этот самый мир, между тюрьмой и войной, такое отношение к нему – тоже чудо. И чудо, что есть в этом мире любовь и радость – не только для несмышленишей, но и для тех, кто все ведаёт.

Нет, о скорби в этой традиции не забывают, её значимость имеют в виду, но в поэтическом мире она не играет главной роли, она преодолевается, что и даёт особую яркость и остроту переживанию прекрасного и возвышенного. В поэтическом мире такого типа доминирует катарсис – результат развертывания трагического конфликта, сама же трагическая коллизия главным образом подразумевается, в фокусе внимания не присутствует.

Очевидно, в свои 19 лет М. Рахлина интуитивно нащупала «сродную ей» традицию, как будто задала себе программу, где было, так сказать, предусмотрено, каким должен быть внутренний мир самого поэта, каким должен быть его поэтический мир.

Перипетии личной судьбы М. Рахлиной в течение длительного времени шли вразрез с этой программой, но поэт не отказывается от этой главной направленности своей поэтической экзистенции, ведёт диалог с жесткой и жестокой реальностью таким образом, чтобы не дать ей подавить се-

бя. В противостоянии этом поэту удалось устоять, выстоять, преодолеть все, препятствующее реализации избранной экзистенции. Это особенно очевидно в лирике последних лет.

«На склоне лет счастливая хожу», – написала М. Рахлина уже в новом веке, в своей новой жизни, за чертою самых тяжких своих утрат. В эти годы она не раз писала о счастье. И это были не просто слова. Таким было в реальности ее самоощущение, переживание ею своего бытия.

Как поэт она была награждена «каким-то вечным детством». Проявлялось это у нее в последние годы так: к ней как будто вернулась детская наивная убежденность, ясная, ничем не замутненная вера, что весь мир создан для того, чтобы одарить ее всей полнотой радости и счастья, чтоб наполнить ее душу ликующим чувством причастности к чуждому существованию, чтоб приобщить ее к дивному причастию из полной чаши бытия.

«Счастье – это дар», – написала в послесловии к одной из последних ее книг И. Захарова, имея в виду, что способность быть и чувствовать себя счастливой, создавать и утверждать свое счастье, сохранять и укреплять чувство счастья не благодаря, а вопреки обстоятельствам, действительно, редкий дар. Это верно. Только М. Рахлина идет в своем самоосмыслении дальше:

Счастливая! И это несмотря,
наоборот скажу, благодаря

тому, что боль, точащая меня
(а без нее не проходило дня) –
она пребудет, и она продлится...

Здесь сказано, может быть, о главном в ее экзистенции последних и не только последних лет: суть не в том, чтобы не видеть, не слышать, не знать беды, горя, страдания и потому быть счастливой. Суть в том, чтобы, переживая всю мыслимую и немыслимую скорбь, преодолевать свою боль, преодолевать себя, претворять горящее горе в источник света, освещающий пространство твоей души и светящий другим людям и благодаря этому (и только этому) быть счастливой.

Но ведь это и творческая задача: увидеть и отобразить все, в том числе мрак, ужас, грязь, зло, осмыслить все до конца и найти возможность просветления мрака, очищения от нечисти, преодоления страха, внутреннего освобождения от зла.

Подобные задачи решали и другие поэты ее поколения, всем им досталась нешуточная жизнь, все тяготели к прямой свободной речи – о насущном. Но катарсис у каждого – свой.

М. Рахлина другу в поколенья и читателю в потомстве передает дар счастья, которое можно пережить – прочувствовать и тогда, когда все потеряно, когда естественно было бы чувствовать лишь скорбь и печаль. Но в том и дар ее: естественное преодолевается, является над этим естественным – чудо, и боль становится источником счастья.

Поэтическая судьба М. Рахлиной, очевидно, связана с тем, что этот дар изначально открылся ей, поманил за собой, а затем пришли испытания, понуждавшие отказаться от этого дара, забыть о нем, уйти от него. Каждое из них испытывало волю поэта, верность своему дару, устремленность к нему, надежду, веру, любовь. В последние годы свои она писала:

Обходиться безо всего и быть при этом счастливой – это трудно, но надо, все-таки, попытаться!

Такой была задача, которую она решала на самом деле всю жизнь – и всей жизнью.

Начиная с 1945 г. скорби преследуют ее с редкой последовательностью. Следовало искать и найти ответ на эти не прекращающиеся вызовы судьбы. Ответ, который давал бы возможность сохранить или вернуть, если утрачена, изначально свойственную ей поэтическую экзистенцию счастья.

Над ее раскрытой могилой так естественно было прозвучать стихам:

И неужели хватит духу
у злой судьбы, у бытия
убить счастливую старуху,
которой завтра стану я?

Только вот написано это было в самом расцвете сил,

ей было чуть-чуть за сорок. Отчего же эта совсем еще молодая женщина думает о том, что завтра станет старухой? И что делает возможным помыслить, что старуха эта будет завтра счастливой? А вот что:

И завтра труд мой многопудный
окончен будет сам собой,
и завтра друг мой многотрудный
придет, здоровый и живой...

Вот что было в этом ее сегодня длиною в жизнь: тяжкие труды и многотрудные друзья. Труды у Марлены Рахлиной были разные – среди прочего «руки – в дело, душу – в быт!» Такие они были, эти труды, что порой у нее вырывалось: «Всё как было. Только нет во всем МЕНЯ». Но среди всех ее трудов, может быть, самый многопудный тот, о котором она в 2006 г. написала:

Тружусь над прошлым я, иду походом
над памятью убитых в той войне,
которая велась с моим народом
в моей несчастной проклятой стране.

Но ведь это прошлое еще недавно было ее настоящим, и трудиться над этим настоящим приходилось не шутя. В ее ранней поэме «Отцы и дети» были строки:

Наша юность задавлена
то войной, то тюрьмою.

Чуть позже, в начале шестидесятых, она играет такими словами: «Там воронки́, а там ворóнки». И эти игры не отпускают ее и в следующем десятилетии. Тогда в стихотворении «Век» она писала:

Не только сосны и дубы
ты переделал на гробы,
звон колокольный на «звонок»,
а ворона на «воронок»,
а от звонка и до звонка,
от воронка до воронка
легла дорога, как река,
под наименованьем Лета,
и ни ответа, ни привета,
одна тоска...

Пришли восьмидесятые, и вновь есть повод написать:

В который раз уверенно и четко
в пейзаж наш бедный впишется решетка...

Это действительно многопудный труд – иметь в своей неотвязной памяти и в сознании «изгаженное детство» и то, что было потом: «лагеря, лагеря, лагеря, пересылки, этапы, вагоны»... И видеть, как «скользнув между тюрьмою и вой-

ной, исходит жизнь»...

Скажут: такими были судьбы ее близких, ее друзей, достаточно большой части ее поколения. Это верно, но далеко не каждый пишущий (в ее поколении в особенности) вводил подобное в свой поэтический мир. Нет, и судьба не случайность для личности, и друзей человек – выбирает сам, и что именно из личного опыта становится явлением поэтической судьбы – дело выбора для поэта.

Она выбрала – знать, из-под каких развалин говорит, не отворачиваться от всенародной беды, понимать до конца, что с нами происходило и происходит. Она в 1962 г. написала стихи о новочеркасской трагедии. На такое могли тогда отважиться единицы. Она тогда же писала о той «игре», которую навязывали народу, и о ее дирижерах:

Под топот сапог и под шепот параш,
от подлого страха немея,
скажу дирижеру, что стал он палач.
А большего я не умею!

Не в пример другим, М. Рахлина достаточно рано поняла фальшь той игры, в которую был втянут весь народ, и из-за этого, что и вовсе не типично для ее поколения, испытывала отвращение к главным, а потому для многих неприкосновенным символам советской действительности:

Перед тем, как стану пыль,

слышу звон на башне Спасской.
Слишком живо – если сказка.
Слишком жутко – если быль.

Видно, ясно представляла она себе, как становятся лагерной пылью под бой курантов.

Была выбрана поэтическая судьба такая, когда поэт берет на себя всю без остатка боль своего поколения, а значит, и «кровавых смертей миллионы». Поэт выбирает – не промолчать, когда «исходит жизнь в молчанье, взаперти», даже зная, что никого не поразят твои слова, что тебя не услышат, поскольку

И так который год подряд
так гулко, так неумоимо
над вашей жизнью бьет набат,
над вашей гибелью – набат!
А вы, смеясь, идете мимо.

С какого-то поворотного пункта появляется потребность сказать о том, о чем прежде молчали, сказать – пусть невнятно, пусть без надежды на непредвзятое понимание:

Когда за твоими плечами
вся жизнь плюс еще года два,
словами сказать о молчанье –
судьба твоего естества.

Ты речи туманные свяжешь
небрежным вниманьем минут...
Молчи! Все равно не расскажешь,
а скажешь – тебя не поймут.

А скажешь – вернуться обратно
высоким словам не дано,
все будет невнятно, превратно
переврано, превращено.

И только одно будет точно
и крепко сидеть на мели,
что тошно, друзья мои, тошно,
тошнихонько, други мои!

Прямая речь есть прямая речь – приходится называть вещи своими именами. «Тошно», «тошнихонько», «тоска» – вот, пожалуй, три обозначения того переживания, которое в силу обстоятельств претендовало на доминирование во внутреннем мире и поэтической экзистенции. Но, обратим внимание, это не печаль, не скорбь. Печаль и скорбь – это чувства, возникающие тогда, когда изменить ничего нельзя. Тоска, тошно – это другое состояние, гораздо более динамичное, вырывающееся и вырывающее его носителя из плена обстоятельств и условий. Куда? Да всё туда же – к своей доминанте, к состоянию, пусть и старухи, но счастливой. К состоянию внутренней свободы, внутреннего противостояния и подавлению, и подавляемости.

Так избирается поэтическая судьба, и ответственность предполагающая тяжкую, и труда требующая нелегкого, и навевающая мрачность непроглядную.

Ведь что вытворяли! И кровь отворяли,
и смачно втыкали под ногти иглу...
Кого выдворяли, кого водворяли...
А мы все сидим, как сидели, в углу.

Любезная жизнь! Ненаглядные чада!
Бесценные клетки! Родные гроши!
И нету искусства – и ладно, не надо!
И нету души – проживем без души!

И много нас, много, о Боже, как много,
как долго, как сладостно наше житье!
И нет у нас Бога – не надо и Бога!
И нету любви – проживем без нее!

Пейзаж моей Родины неувядаем:
багровое знамя, да пламя, да дым,
а мы все сидим, все сидим, все гадаем,
что завтра отнимут? А мы отдадим!

Только обратим внимание: здесь ни печали, ни скорби. Есть скорее самоирония, пожалуй, и трагическая, но беспощадная к тем, кто, будучи погруженным в тоталитарное болото, уже едва ли не смирился со своей участью и поэтому

уже ни к чему и не способен, безволен, бесхребетен. Об том могла бы быть и скорбь. Но разве она вызвана, разве названа?

С трудом многопудным рифмуется у М. Рахлиной многотрудный друг. Боль за себя перенести можно. Скорбь мировую, сразу за всех – тоже. Нестерпимее всего боль за близкого, родного по духу, за друга. Друг потому и именуется многотрудным, что столь трудна эта боль.

Я боли больше видеть не могу:
позволь, остановлюсь, позволь, устану.
Плыви, мой друг, плыви, а я отстану.
Плыви – я посижу на берегу.

Плыви по морю боли, милый друг.
Позволь, усну. Позволь, глаза закрою,
позволь, умру. Позволь, в песок зарюю
я голову, и пусть оглохнет слух.

У серых стен я молча посижу.
Плыви, мой друг, плыви по морю боли.
Не оглянись – и выплывешь на волю,
а я тебя глазами провожу.

Не чаю я, как душу мне спасти.
Отчаянье отваге не помощник.
Прости меня, что в этот час полночный
я шлю тебе последнее прости.

Пльви – а я опять вернусь на круг.
Пльви – не мне учить тебя неволе,
так срамно мне, но я не в силах боле.
Пльви по морю боли, милый друг!

Это одно из самых эмоционально обнаженных стихотворений М. Рахлиной – здесь она прямо называет боль болью, слабость слабостью, отчаянье отчаяньем, стыд стыдом. Тут крайняя точка, тут предельно катастрофическая ситуация, и ужас в том, что состояние катастрофы охватывает здесь весь внутренний, весь поэтический мир. Именно отсюда она должна была начать выплывать на волю.

Многотрудность бытия – это еще не всё, что тяготило ее. Кроме этого, было еще ощущение присутствия где-то рядом того, что не сбылось, что хотя бы теоретически было возможно, что было действительно необходимо – и не состоялось. Среди прочего здесь то, что так значимо для каждого поэта:

Бьется в воздухе горсточка пыли
с переплетов неизданных книг.

Есть тут и еще одно: не реализованная линия судьбы из-за вынужденной разлуки с родным и любимым городом. Это долгие годы тревожит печалью по утраченному, скорбью по несбывшемуся, впрочем, как обычно не названным:

И стоит знаменитый, воспетый

гордый город, туманом одетый,
под ветрами холодных морей,
без защиты стоит, без покровы
моего безымянного слова,
неуслышанной песни моей.

Насколько мучительно это внутреннее раздвоение, когда в сознании рядом с реальным маячит несбывшееся, становится ясным из стихотворения «Не я»:

Нет, то была не я, не я!
Не я глазами колдовала,
не я губами целовала,
не голубок и не змея,
и не своя, и не твоя...

И вновь не я, опять – не я,
под стук колес, на жестком ложе,
за молодой немудрой ложью
боль и погибель затая,
не я, клянусь тебе, не я!
Не я открыла дверь беде
с нечеловеческою мордой,
не я была в те годы мертвой
и ожила неведомо где.

Не я, не я из года в год, –
с другим лицом, с другой судьбою –
женою, матерью, сестрою

перебывала в свой черед,
не я в веселые моря
бросала радость и усталость...
Чудная жизнь вдали осталась,
чужая чья-то, не моя.

Гляжу, на локоть опершись,
дивлюсь, волнуясь, протестую...
В свою не верю, прожитую,
еще не конченную жизнь.

И тут опять такое погружение в бездну скорби, что многое оказывается названным прямо: и ложь, и боль, и погибель, и беда. И тут еще одна точка отталкивания – это необходимо было превозмочь, ожить – душою, вновь наполнив ее экзистенцией счастья.

Для того, чтобы все превозмочь, в первую очередь нужна была воля к преодолению горя, к освобождению от соблазна восклицать о своей скорби:

Но горе, мне данное, прячу,
давлюсь нищетой и виной,
жую и глотаю, иначе
они пообедают мной.

Для этого также необходимо было наличие в живом чувстве того, что сутью своей противостоит всякому негативу:

Одна любовь – и больше ничего.
Одна любовь – и ничего не надо.
Что в мире лучше любящего взгляда?
Какая власть! Какое торжество.

А еще была нужна вера в себя, в друзей, в близких, в дело, которому отдаешь жизнь, в осмысленность страдания, ведь им и только им покупается возможность творить, любить, чувствовать себя свободным:

Вранье! Мы все же победим!
Не говорю, что одолеем!
Всего скорее околеем,
наивно доказуя им,
что деньги – сор, а слава – дым...
И все же, все же победим.

Ведь это мы, а не они
даем народу хлеб и воду
любви, искусства и свободы...

И как противоядие, в особенности против скорби по несбывшемуся, на пороге зрелости – в начале «позднего времени года» появляются образы садовника и сада. Как печален образ того, чье дело не окончено, кто уходит до времени, кто остается безымянным, не узанным, но чей тихий подвиг дает возможность взрасти саду жизни, саду культуры. Как печален обретаемый при этом автором смысл жизни

каждого такого садовника в этом, да и не только в этом поколении (но о печали ни слова):

И позднему времени года,
звнящему спелой листвою,
не слава нужна, а свобода,
не подвиги, а естество.

Всю жизнь в суете и содоме,
в тревогах трудов и утрат
стучит и хлопочет садовник,
растит потихоньку свой сад.

Устанет – крылами своими
укроет беднягу любовь.
А саду – зачем ему имя?
Он – сад, это видит любой.

Тут становится очевидным: бремя, которым отяготила свою поэтическую судьбу М. Рахлина, такого объема и тяжести, что сопоставить его можно только со смертью. Да ведь и освободить от него могла только смерть. Возможно, это одна из причин, почему в ее поэтическом мире смерть с давних пор играла столь важную роль. Она была темой, потому что она была тем, перед чьим лицом открывается главное в твоей душе, в том, что ты переживаешь и претерпеваешь.

Как будто сердце осени горит

здесь, на шуршащей, дышащей поляне.
Багово-красно времени пыланье,
сквозь шорох листьев – вечность говорит.

И я, склонясь к холодному костру,
людских костров прежнее и превыше,
впервые не жалею, что умру,
что жизнь моя – лишь сладкая привычка...

С прозрачностью небес – земная твердь
там, вдалеке, сливается прилежно.
Все на местах, любовь моя! И смерть
прекрасна, потому что неизбежна.

Это перед ее лицом осознается то, что составляет главное
в самосозидании поэта:

Я повторяю: в радости, в беде,
в трудах моих, удачах и потерях,
и в дружбе, и в любви и во вражде
я счастлива была, себе поверив,
что счастлива...

Стало быть, чтобы стать, чтобы быть счастливой, надо было
уверовать, что эта поэтическая экзистенция счастья дарована тебе,
уверовать, что счастье есть составляющая не только радости,
удачи, дружбы и любви, но и беды, потерь и даже вражды и смерти,
что счастье является даже не несмот-

ря на утраты и потери, но благодаря всем твоим испытаниям, всей боли и скорби, которую ты берешь на себя. Преодоление скорби и есть подлинное счастье, и поэтому, говоря, что ты счастлив, ты можешь не называть скорбь – она и так подразумевается. Ведь в этом поэтическом мире именно не названная, то есть преодоленная скорбь становится стихами.

Вот поверь, ни-че-го, ничего больше нет,
кроме этой громады любви и тепла.
Это очень серьезно – на старости лет
отдавать, что за жизнь припасла.

Все, что мило житью, все, что мило жилью,
исчезает одно за другим без следа,
отдаю, отдаю, а коль слезы пролью –
так ведь только от радости, да!

Так легко отдавать, а потом пировать:
есть чем сердце согреть и слезу утереть,
и не все отдаю, вот осталась кровать,
чтобы было на чем помереть.

01.09.2010

Отдельные сохранившиеся стихи (1944–1949 гг.)

Поэзия

Жизнь лишь тогда, когда Она опять
дежурит по ночам у изголовья.
А мы не знаем, как Ее назвать.
Не памятью. Не мукой. Не любовью.

И сердце с миром затевает спор,
и ждет Ее, ликуя и стихая,
и вот Она, неназванная скорбь,
приходит и становится стихами.

Гроза

О, ночь вдыхают. Влагу пьют.
Был вихрь. Дрожа, пылали зори.
В моем раскрытом жадно взоре
они нашли себе приют.

Для новой жизни рождены,
ему являлись постепенно
земной простор, морская пена
и человеческие сны.

Так я встречала жребий мой,
мои непрожитые годы,
мою желанную свободу,
свободу от себя самой.

Предчувствие

Не может быть, чтоб стих мой был мне дан
взамен страстей, взамен земного счастья.

Он тих и сер, как невяская вода
в любимом городе, где родилась я.

Не слышу я ни райских голосов,
ни звука лир, ни воинских преданий,
нет у меня ни алых парусов,
ни чудных стран, ни пестрых одеяний.

И не встают большие города,
не гонит корабли попутный ветер.
Лишь сердце есть. И сердце мне не даст
легко дышать и вольно жить на свете.

В нем та тоска на много тысяч лет,
которую не вылечишь стихами.
Ему любовь – как вам – насыщенный хлеб,
взамен которого протянут камень.

И если я так часто весела,
люблю, смеюсь, не плачу при разлуке, –
простите мне! Еще не дожидка
до первого костра, до крестной муки.

Октябрь 1944

Отрывки из поэмы

Первый отрывок

Я тебя никогда не любила.
Я тебя за два дня позабыла.
И за то, что ты мне подчинялся,
и за то, что ты дерзким остался,
и за то, что похож ты немало
на того, кого прежде я знала.

Ты меня очень быстро измучил,
ты мне сам, ты мне первый наскучил,
и своей неожиданной страстью,
и моей надоевшею властью!

Знайте вы, которые
влюблены.

Все дороги – торные
до весны.

Я из вас не выберу
никого.

Мой огонь не выгорел
для него.

А как бы я выжила,
понять мудрено,
когда бы услышала
шаги за спиной.
Взглянула бы в стороны,
взглянула назад,
увидела б черные
родные глаза.
Восторги и жалобы
и радость – мала.
Плечами пожала бы
и руку дала.

Сказала бы: «Боже мой,
мы снова друзья», –
и, может быть, может быть,
ошиблась бы я.

Второй отрывок

Прощай! Мы с тобой не дети,
и кончилось так – неспроста.
И ты предо мной не в ответе,
и я пред тобою чиста,

прости мне бывшие причуды
наивных и радостных дней,

и то, что я плакать не буду,
хоть, может быть, станет больней.

Беде не поможешь слезами,
а разве лишь тем, что на миг
взгляну я чужими глазами
на радость и горе двоих,

а если я что-нибудь вспомню,
скорей постараюсь забыть.
Отжить еще надо свое мне,
мне надо свое отлюбить,

мне надо до старости выжить,
до старости – с милым вдвоем,
мне надо увидеть поближе
упрямое счастье мое.

И только хочу я упорно,
чтоб так же мы были чисты,
чтоб был он такой непокорный,
такой же любимый, как ты.

Третий отрывок

Воскресить бы славные останки
и прийти в любые времена.

Побежать по зелени вакханкой,
русской девой плакать у окна,
в тишине ленивого гарема
погрузиться в тихий водоем,
позабить про медленное время
с молодым патрицием вдвоем,
сесть на троне юной королевой,
похищенной ездить по морям,
молча слушать мерные напевы
за глухой стеной монастыря,
любоваться нищенской подачкой
в закопченной комнате, в углу,
а назавтра гордою полячкой
танцевать мазурку на балу.
Клеопатрой увлекать с собою
человечьи судьбы и дела,
Жанной Д'Арк ворваться в гущу боя,
чтобы пуля сердце обожгла,
даже пусть русалкой или ведьмой,
даже Лорелеей на скале,
испытать, узнать бы, посмотреть бы
все, что было, есть и будет на земле.

...Я всегда хочу невозможного,
а оно – всегда невозможно.
Мое сердце, вечно тревожное,
не умеет жить осторожно.

Что же мне прикажете делать с ним,

если век для него – минута!
Может быть, ему хватит смелости
на всю жизнь? Вот и все, как будто.

Нет, еще! Когда небо в пламени,
когда веет тихонько ветер,
когда близится утро раннее,
очень хочется жить на свете!

1944

«Я боюсь, что, полюбивши...»

Я боюсь, что, полюбивши,
разлюблю свои привычки,
эти ласковые утра
среди солнца и цветов,

разлюблю бродить по лужам,
пить сосульки ледяные
и бежать с горы высокой,
чтоб захватывало дух,

разлюблю не спать ночами
с недочитанною книгой,
и пленительные звуки
дальней музыки ловить,

и всегда хотеть чего-то,
и по-детски грезить часто
о каких-то недоступных
и неведомых краях...

И останутся лишь взгляды,
только ласки и объятья.
Что же, разве это счастье?
Не любить бы мне вовек!

«Снова вечер холодный, ясный...»

Снова вечер холодный, ясный,
и рука моя вновь горит.
«Нет любви, подари хоть ласку,
хоть мгновенный взгляд подари...»

Ходят тени по бледной стене...
Облака проплывают мимо...
Очень, думаешь, весело мне
здесь с тобой грустить о любимом?

...Вот и не о чем нам говорить.
Что-то нынче и звезды неярки.
Ничего я не стану дарить,
мне самой-то нужны подарки!

«Они наказаны за дело...»

Они наказаны за дело.
Нельзя вперед глядеть, любя.
Он для нее жалел себя,
она для всех себя жалела.

И слишком просто и возможно
казалось взять, казалось пасть.
Самолюбивых, осторожных
не жег огонь, щадила страсть.

И не уступят никогда,
и никогда не будут слабы,
но боль, которая должна бы
зажить до свадьбы, навсегда,
не заживет и после свадьбы
среди душных стен и медных лбов.
И поделом. Пора им знать бы,
как люди платят за любовь!

Братские могилы

Молча их в могилы зарывали
с лучшими товарищами вместе.
Мертвые ночами не вставали
из земли, напоминать о мести.

Но весной пестрыми цветами
братские могилы зарастали.
По холмам с кленовыми крестами
шорохи степные пролетали.

Оттого ли, что у всех, быть может,
где-то также милые зарыты,
воскресали в памяти прохожих
имена и лица не забытых.

Будто бы со свежими цветами
из земли они рождались снова,
и звучал родными голосами
тихий шорох ковыля степного,

на стеблях качались и гляделись
вслед войскам, идущим по России,
завещая жизнь за них доделать
и докончить их дела земные.

Сверстникам

«Через остатки рухнувших громад...»

Через остатки рухнувших громад,
сквозь отзвуки стихающего боя,
уйдет в века четвертая зима,
и унесет войну она с собою.

Еще не смолкнут дальние бои,
а люди счастье в гости заторопят.
Придут домой ровесники мои,
ребята, побывавшие в Европе.

Вернутся, может быть, под отчий кров
и те, кого считали мертвецами,
и женщины мужьям обмоют кровь
и дети познакомятся с отцами.

Шагнувши через груды мертвых тел,
утративши привычно дорогое,
увидят люди, что они не те,
и счастье тоже новое, другое.

Другое счастье, полное тревог,

глубоких ран, и памяти о старом:
недаром столько пройдено дорог
и крови столько пролито недаром...

«...А я была в мои пятнадцать лет...»

...А я была в мои пятнадцать лет
девчонкою доверчивой и милой,
носила очень прямо свой берет
и за «люблю» – пощечиной платила,

жила среди школьных дел и мелочей,
в сюрпризах и восторгах ежедневных
и знала из «ботаники» своей,
что хлеб не вырастает на деревьях.

Так жили мы, своим не веря снам,
среди ничем не тронутых досугов,
и стала нам не матерью война,
но беспощадным и суровым другом.

Мы выросли в сраженьи двух миров,
Мы выросли, нам всем почти не двадцать,
И нас учила жить большая кровь,
И боль потерь, и даль эвакуаций...

«...Лежит никем не пройденный еще...»

...Лежит никем не пройденный еще
далекий, вольный путь, конца не видно,
и в первый раз мне розовости щек
и молодости – в первый раз не стыдно.

Мы заслужили радость и любовь,
у нас по праву – юность и надежды,
мы будем жить, и мы настроим вновь
чтоб было вдвое более, чем прежде.
Мы не свернем с проторенных путей,
горячей кровью сверстников залитых.
Мы будем жить. И мы родим детей,
чтоб было вдвое больше, чем убитых.

Друзья, какой далекий путь лежит.
Цветы и солнце. Грезы и ненастья...
Мы будем жить. Мы долго будем жить
и мы его узнаем, наше счастье.

Большое счастье, полное тревог,
глубоких ран и памяти о старом.
Недаром столько пройдено дорог
и крови столько пролито не даром.

«Не будь, о ветер, так упрям...»

Не будь, о ветер, так упрям...
Устали мы, но путь наш прям, –
по засыпающим лугам,
где липнет мокрый снег к ногам,
по рекам сонным и седым,
сквозь легкий светлый снежный дым,
по черным дремлющим лесам,
туда, к огням и голосам,
туда, где жизнь, любовь и труд,
где люди нашей песни ждут.
По уголкам родной земли
смотрели, слушали и шли,
и милой родины краса
слепила жадные глаза.
Но как я рассказать смогу
про цвет ромашки на лугу?
Где слово верное найду
про дождь в саду, про пчел в меду,
про пень ветра у дверей,
про смех счастливых матерей,
когда дитя едва-едва
лепечет первые слова,
про человеческую смерть,
небесный свод, земную твердь...

Повсюду песни легкий след,
но песни нет – и счастья нет...

Не будь, о счастье, так сурово,
откройся мне, скупое слово!
...Не будь, о ветер, так упрям!

«А я сегодня на год постарела...»

А я сегодня на год постарела.
Не пела песен, не пила вино.
В печи солома тихо догорела,
по звонким стеклам дождь стучит в окно,

огарок свечки пламя выпрямляет,
и вянют листья над святым углом.
Сама себя я нынче поздравляю,
стихи себе дарю и бью челом.

О прошлом я теперь уже не помню.
Легко забыть и вспоминать – грешно.
Подольше бы не видеть никого мне,
подольше... ни у сердца, ни у ног!

Не горестно теперь мне и не трудно,
гляжу на небо и люблю траву.
Зовите же упрямой и беспутной
за то, что не по-вашему живу.

Ведь знаю я, хоть с нового рассвета
все будет так, как нынче и вчера,
но песня прежняя еще не спета,
и прежняя не кончена игра.

Деревня Н. Березовая
29 августа 1945

«Это было все наяву...»

Это было все наяву.
Отчего так спокойно мне,
будто я уже не живу,
или видела все во сне?

Или кто-то мне рассказал
про волнение и слабость ног,
про холодный ночной вокзал
и про пыль городских дорог,

про едва забрезживший день,
про чужой неприятный двор,
про семью и длинную тень
от матросской ленты его.

«Милый друг! От себя ли мы скроем...»

Милый друг! От себя ли мы скроем
как ошиблись с тобою на миг,
и не наших романов герои
оказались героями в них.

Как мне жаль их. И жить-то не смеют,
и чужие примеры не впрок,
и хотеть ничего не умеют,
и боятся страстей и тревог,

перед встречами рюмкой сивухи
прогоняют сомненья и страх,
и бегут от любви, что есть духу,
если Бог не откажет в ногах.

Мы с тобой – настоящие люди
И счастливыми быть не должны.
Но когда нас и вправду полюбят,
эти слезы нам будут смешны.

Пусть уж лучше измучат, состарят,
выпьют душу по капельке. Пусть!
Но зато нам навеки подарят

Настоящую радость и грусть.

А покуда безлюдье мы терпим,
пусть мне будет лекарством от ран,
что скончался естественной смертью
мой последний бездарный роман.

И скончавшись, оставил в наследство
много грустных и радостных строф.
Хорошо, что он был мне хоть средством
для бесчисленных новых стихов.

«Комната мраком наполнится...»

Комната мраком наполнится,
в окнах зажгутся огни,
будто бы детство, припомнятся
даже последние дни.

Давним повеет недавнее,
невозвратимым, как сон,
радостным станет печальное,
девичьи слезы – росой.

Прежней тревоги истомчивой
больше нигде не найду.
Что ж это, молодость кончилась
на двадцать первом году?

«Снилось мне, что, тиха и грустна...»

Снилось мне, что, тиха и грустна
я по лесу бродила одна.
Высыхала на листьях роса,
паутина легла на глаза,
и она мне ресницы сплела,
чтоб я больше смотреть не могла,
чтоб волнения жизни земной
никогда не дружились со мной,
чтоб, не видя, а только дыша,
вечно думать, что жизнь хороша,
и не знать ни страстей, ни тревог...

Страшен сон мой, да милостив Бог!

Сирени

На окне у нас тоскуют
дети будущего лета,
солнце весело целует
нерасцветшие букеты.

Оттого повеселели
эти солнечные пятна,
что душистые сирени
не уйдут уже обратно.

Много солнца нынче в мире,
мир светлее и алее,
а весну в моей квартире
вместе делать веселее.

А сирени приуныли,
опустив глаза на воду,
и впервые полюбили
недоступную свободу...

И узнали, что зачахнут
без кустов своих зеленых,
оттого они ни капли
не похожи на влюбленных.

А ведь им была понятна
цель веселая, другая,
и тянулись к этим пятнам,
про кусты не вспоминая.

...Что же, значит, и весною
что-то есть любви дороже,
и когда-нибудь со мною
не случилось бы того же.

Гимн ямбу

Еще звенишь, еще не умер,
удар врагам и дар друзьям,
любовь и гнев, печаль и юмор,
четырёхстопный славный ямб.

Ты нам историей завещан,
урок отцовский сыновьям,
свободный дух, живой и вещей,
оружье славы, гордый ямб.

То очаруй, то грозно свистни,
то будь отшельник, то буян,
отец поэзии и мысли,
и бог веселья, добрый ямб.

И я б легла, сложив оружие,
среди могильных черных ям,
когда б со мной ты не был дружен,
мой старый спутник, верный ямб.

Но я услышу голос вечный
и волю дам твоим струям,
мой честный, чуткий, человеческий,
чеканный, чистый, четкий ямб.

«Тому назад немало дней...»

Тому назад немало дней,
впервые не тоскуя,
спокойно ты сказал о ней:
«Когда-то знал такую».

Вот так когда-нибудь и мы,
в разлуке ли, забыты –
покаемся перед людьми,
что мы с тобою – квиты.

И в темноте, и в тишине,
у милых ног вздыхая,
ты тоже скажешь обо мне:
«Была, была такая».

«Нежный, путаный, сумасшедший...»

Нежный, путаный, сумасшедший,
Не солгавший мне ни на грош,
что ты там потихоньку шепчешь?
Что ты там на весь мир орешь?
Поплутавши еще немного,
Мы найдем ее там и здесь,
Нашу взорванную дорогу
и последнюю нашу песнь.

Но оглядываясь, но тоскуя,
забывая дневной сумбур,
как смолчишь про свою людскую,
про земную свою судьбу?

Этой силы не переспоришь.
Все равно, чуть настанет срок,
так и льется глупая горечь
между мыслей и между строк.

«Может быть, я нашла искомое...»

Может быть, я нашла искомое,
так хотелось найти его.

Как я рада, что вы, знакомые,
не узнаете ничего!

Что еще ничего не выдано
так внезапно и так свежо.
Этот странный огонь – невидимый,
только сердце и щеки жжет.

Как и прежде, живу, веселая,
будто также мой светел путь,
и как будто никто мне голову
не положит нынче на грудь.

И не мучу себя вопросами,
что мне можно, а что нельзя:
только пахнет рот папиросами
и темней по утрам глаза.

«От жара зелень стала тусклой...»

От жара зелень стала тусклой.
Вот-вот и дождь пойдет всерьез.
...Бывает радостно от грусти,
от грусти – радостно до слез.

Такую грусть едва пригубит
душа, молчавшая полдня,
и мыслит, и спешит, и любит,
и светлой жизни вся полна,

и, тихим пламенем согрета,
себя сжигает, не щадя,
горит, как зелень знойным летом,
когда так долго нет дождя.

Но зной устанет. Ливень грянет,
все – как хочу! Все – по плечу!
И солнца луч блестит на гранях
певучих капель – дум и чувств.

И сердце, свежести отведав,
сгорает разом, отлюбя,
но понимаем и ответом
сияет разум у тебя!

Эта зима (Цикл 1945 г.)

«Дождь и звонкое ненастье...»

Дождь и звонкое ненастье,
капли звонкие, как смех,
мы вдвоем с тобою, счастье
в этой мартовской зиме.
Как же ты меня настигло!
С головы до самых пят...
И впервые мне не стыдно
и не страшно от тебя.
Ах, какие эти ночи!
Воздух пьяный, как вино.
Что там, в будущем? А впрочем,
мне и это все равно.

Ночь

Как жаль, что мой милый так долго ничей.
Как странно, что сердце я прячу.

Как много весной бывает ночей
тревожных, бессонных, горячих.

Нельзя, чтобы сердце осталось глухим,
и чтоб от спокойствия – плакать,
но в это мгновенье приходят стихи
из ночи, из снега, из мрака.

Они побеждают веселой гурьбой,
и незачем быть откровенной,
и можно солгать, не следя за собой,
и нужно солгать непременно.

Отдать свою душу надежде пустой,
забытой, нелепой надежде,
и счастьем назвать неожиданно то,
чему ты не верила прежде.

На миг очутиться во власти мечты,
которая нас не спасала,
а днем удивленно увидеть, что ты
прекрасную правду сказала.

«Когда мы будем счастливы ошибкой...»

Когда мы будем счастливы ошибкой,
заветным счастьем дедов и отцов,

не смехом, а тревожною улыбкой
оно смущенно ляжет на лицо.

Ах, нам с тобою, нам, единоверцам,
не счастье прописано в режим,
мы болями и радостями сердца
навек не себе принадлежим.

И чем сильней поругано, что свято,
и чем больней, что всем другим легко,
и чем полней печальная утрата
того, что называется «покой», –

тем веселей и горше наши строфы,
тем нам слышней ответный стук сердец,
тем зеленей и гуще тот лавровый,
заранее постылый нам, венец.

Ответ

«...Имя твое – название звезды»

Ах, знала ль я тебя заране,
виновник всех моих грехов –
нецеломудренных признаний
и целомудренных стихов?

Уже начертан и осознан
мой жребий, грустный и земной,
ты можешь вспоминать о звездах,
но ты живой, и ты со мной.

И жизни горестную чашу
пред тем, как все навек забыть,
я милой памятью украшу
про все, чему, как видно, быть.

Ушел – и ладно

И встал, и вышел мой влюбленный витязь,
решив меня за дело наказать,
на скучный вечер от души обидясь,
на сонный вид и красные глаза.

А мне не жаль. Мне сон приснится ночью,
что он со мной, что он невдалеке,
его дыханье щеку защекочет,
и волосы пройдутся по руке.

Весна

И вы, ручьи и звонкие капли,

и ты, весна, чей голос так упрямым,
вы никогда той песни мне не пели,
что в этот год запели с декабря,

и никуда не скрыться и не деться
от вечных даней жизни и судьбе,
и за спиной оставленное детство
в последний раз напомнит о себе.

И от него, покоя и свободы,
уйду дорогой той же, что и все.
Но дай мне Бог прожить в один присест
все, что дано на праведные годы.

Весенняя зима

Мы приняли все без раздумий и спроса,
у нас ни единый вопрос не возник,
зачем вместо добрых крещенских морозов
сырые капли и запах весны?

...Бродили в воде, не желали прощаться,
при всех целовались в лучах фонаря,
и знать не хотели то чудо и счастье,
что почки на ветках уже с января.

Ах, эта зима! Разве только присниться

могла бы такая в предсмертном бреду.
...Туман оседает на мокрых ресницах,
и плавает лед в незамерзшем пруду...

Сказать, или спеть, или крикнуть про это?
Но знать не хотят и не верят вообще,
и «Нынче весна, – отвечают поэтам, –
и почки на ветках – в порядке вещей».

И сколько на хитрое солнце ни шурься,
и сколько ни радуйся детской возне,
но вспомнишь про зиму, и станет кощунством
твоя запоздалая песнь о весне.

Антирелигиозные стихи

Это солнышко. А вот,
если всмотришься получше,
туча по небу плывет,
и Господь сидит на туче.

Видит Бог, ему видней,
для кого, и не для нас ли,
после двух весенних дней
наступившее ненастье.

Он нас хочет научить
жить в безгласье и в потемках,
а слепящие лучи
собирать в свои котомки.

Про запас, про черный день,
чтоб вернее выйти в люди,
чтоб не выйти из людей,
если счастье нас забудет.

Только будущие дни –
не забота, не тревога
для влюбленных и земных
и неверующих в Бога.

В общем, наше дело – пас
и в грядущем, и в загробном...
Не молитесь же за нас
и за прочих, нам подобных!

Ожидание

«Совсем измучась и отчаясь...»

Совсем измучась и отчаясь,
на медленном огне в аду,
я жду. Я даже не ручаюсь,
что я живу. Я только жду.

И это – не тоска, не скука,
не смерть... Те были бы добрей!
Довольно скрипа или стука –
я мчусь. Я тут. Я у дверей!

Ну, как мне быть? Куда мне деться?
Где взять мне слез, чтоб было всласть?
Ох, эта память! Это, власть
свою почуявшее, сердце!

«Ну что мне зелень, что мне лето...»

Ну что мне зелень, что мне лето,
и солнца блеск, и жизни гул!

Я только жажду, как Джульетта,
хоть капли яда с милых губ.

Ах, нынче яд не тот, что прежде,
нам жить средь нашей нищеты,
тебе – пока жива надежда,
а мне – покуда дышишь ты.

Но если б ты не знал, что рядом
моя любовь, моя печаль,
мне самый воздух стал бы ядом,
я б задыхалась по ночам!

«Любимый мой! Я не тоскую...»

Любимый мой! Я не тоскую,
все так же мил мне белый свет,
не ты ль мне дал любовь такую,
что для нее печали нет?

В тоске, в разлуке будем рады,
что можем вспомнить и любить.
И наше счастье, нашу правду
не обмануть и не убить!

Зима

(Вслед циклу «Ожидание»)

Итак, зима... И снова поздний снег,
нежданный гость и утренние вести,
и тот же смех, счастливый зимний смех
звенит по вечерам у нас в подъезде.

Белым-бело... А в мерзлое стекло
глядят все те, кто плохо спит ночами,
и все гадают... Сколько утекло
воды за прошлогодними ручьями!

А за окном сияют фонари!
При их свеченьи и при их дрожаньи
почти до самой утренней зари
глядят в глаза друг другу горожане...

И так горды! Так счастливы судьбой!
А вдруг с зимою кончится горячка?
Я не хочу тревожить вас собой,
но я не так давно была гордячка...

И вот прошло, поблекло, отцвело,
сгорело, под огнем внезапным горбась,
белым-бело... И в мерзлое стекло

гляжу на снег... И это мне за гордость!

И это мне мученье и упрек,
его не снять ни страсти, ни участью...
Лишь тот гордись, кто вовремя умрет,
во время прошлых дней. Во время счастья.

Поединок (Дневник 1947–1948 гг.)

Оттепель

Капли, капли плещут громко
по капелям и с трудом
пробиваются под кромку,
утром названную льдом.
Мокрый ветер бьет по лужам.
С крыши льет и с окон льет.
Этот лед уже не нужен,
тает, тает, тает лед.
Рано утром в сырость выйду,
пусть кто хочет, тот и спит,
а мне слезы не в обиду,
и румянец мне не в стыд...
Сердце, сердце отлетает
в свой мучительный полет.

...Это лед сегодня тает,
это – сломан первый лед!

Февраль

Ночлег

Да, я приснюсь тебе. Приду.
Не знаешь ты, как ночью снится?
В слепом мучительном бреду
меня замкнут твои ресницы.

Как тих мой мир! Как тих мой дом!
Как тихо сердце!.. Солнце встанет,
тогда раскроешь ты с трудом
глаза. И вот – меня не станет.

Ах, здравствуй, солнце! Из-под век
гляжу на столбик знойной пыли...
Я жить пришла. Я человек.
Я девушка... Меня любили...

Лыжи

Я грешна! Я сегодня грешна!
Я одна, и опасность смертельна.
Я под вечер покину в смятенье
нашу комнату. Мне не до сна.

Этот ветер... О чем он? О чем?

Этот снег, этот блеск, эти лыжни.
...Из попутчиков кто-нибудь ближний,
дай к тебе прикоснуться плечом

и скажи, как мне быть? На беду
я на лыжах сюда прибежала.
Приняла это нежное жало,
и не знаю – куда я иду.

Кровь

...Какая кровь стучит в моих ушах,
мутит глаза, и мечется, и мучит:
чуть ветерок, один неверный шаг –
и нет тебя на свете. Так-то лучше.
Ты женщина – так ты не будь скотом
и не теряй сознания от дрожи.
Нет, я не о спасенье! Я о том,
как жизнь свою продать мне подороже.
Ладонь в кулак, и ты уйдешь сейчас,
и губы в кровь, чтоб здесь не разреветься:
«Да, я домой. Да, нынче поздний час».
И – вниз, отговорившись от приветствий.

Кто?

Теперь оно сошла с ума:
стучит – и лезет на рожон.
...Кто здесь прощался? Я сама?..
Здесь кто-то был, совсем чужой,
у ног... у губ... и на груди!
Чего он хочет или ждет?
А если скажешь: «Уходи», –
так он, пожалуй, не уйдет...

Никому нет дела...

И в самом деле, солнце светит,
и жизнь идет за шагом шаг.
Смеются маленькие дети,
на службу взрослые спешат.
Они живут, герои хроник!
Им хорошо. Им все равно.
Они целуют и хоронят,
в саду гуляют, пьют вино.
Ты не кричи. Ты им наскучишь.
Не будет дела им вовек,
что есть на свете и замучен
такой любимый человек.

Опоминаясь...

...Что в моей жизни было,
как посмотрю назад!
Милый мой! Милый! Милый!
Где же твои глаза?
Мало нам в жизни шумной
радостей и защит.
Мучит твой лоб разумный
тонкая сеть морщин.
Как мне прикончить сроки,
бросить их все в огонь.
И окунуть бы щеки
в любящую ладонь.

Путаница

...Чей это стук? О, погодите!
(Одна дорога – за окно).
«Ах, Вы? Я не ждала. Войдите».
Вы тоже с ними заодно?
Какое сердце! Бьет и душит,
и жарко мечется в груди.
Ах, Вы пришли? Ах, Вы – по душу?

О нет, куда! Не уходи...
Вот так уже однажды было,
вот так... На лезвии ножа...
Уйдите... милый! Тоже «милый»...
Я лучше обземь с этажа!

Победа

«В осанке твоей «с кой стати»
любовь, а в губах у тебя
насмешливое: «Оставьте,
вы хуже малых ребят».
Ты взглянешь совсем без грусти,
испортишь улыбкой рот,
и вот – он тебя отпустит,
вернее, он сам уйдет.
И ты без мучений совести
и, может быть, с ним вдвоем
прочтешь окончанье повести
о грешном сердце твоём
и снова почувешь стоимость
и радости бытия,
и это – твоё достоинство
и гордость это твоя,
и руки к груди не тулятся,
и губы твои – ничьи.
О, как на знакомых улицах

весною шумят ручьи!

Ничего не было

Как рада я, что все так просто,
что возвратить – уже нельзя.
Друзья идут по перекрестку
и входят в сад мои друзья.
Назло привычкам и резонам,
сшибая ветки по пути,
я к ним бегу по тем газонам,
где прежде было – не пройти.
Поговорить и обогреться.
О том, что было – ни гу-гу.
Я так живу. Я так могу.
Мне нынче дела нет до сердца!

Сердце – во-вторых

...Ах, сердце! Бьющийся сосуд,
и кровь моя внутри.
И в этот раз тебя спасут:
стучи. Живи. Смотри.

Счастливым будь. Свободным будь

среди своих путей
и принеси в живую грудь
тепло чужих страстей.
И пусть он властен, все равно,
твой стук и твой сумбур,
а все же сердцу не дано
вершить мою судьбу.

Апрель

И Вы!

Такую нить не вдруг развяжешь.
Мы квиты – тем и хороши.
Спасибо Вам. Вы сняли тяжесть,
Вы сняли грех с моей души.
Но так стряслось помимо воли,
что в дни смятенья и тоски,
в огне отчаянья и боли
лишь Вы мне будете близки.

О нет, ни страсть и ни объятья
не вспомним вдруг ни Вы, ни я.
О нет, я Вас не прочу в «братья»,
ни даже в «близкие друзья»,

но пусть в часы грядущей муки,
сама сгубив свою судьбу,

я буду вправе Ваши руки
прижать к пылающему лбу.

Март

Раскаянье

...Пусть в омутax, в огне и в пыли,
на свет случайный забредя,
но продалась! Тебя купили
за час хмельного забытья.
Кому же камень вместо хлеба
своей рукой ты подала?
Теперь живи. Просись на небо.
Ищи забытого тепла.
Смотри в тоске напрасной жажды
на чистый, на весенний свет!
Душе, продавшейя однажды,
уже вовеки счастья нет.
Да будет жизнь моя легка мне,
когда дерюга, словно шелк,
когда колени в кровь о камни
на том пути, где он прошел.

8 мая

Поединок

Лицо к лицу и грудь – к груди.
Живу ли – не пойму.
Мой враг любимый! Погоди...
Не-быть-по-тво-е-му!..

Засим, прощай! И невдомек,
что слезы до утра.
Протяжный свист. Скупой дымок.
И – кончена игра.

И жизнь пройдет. И мне вольно,
чтоб так она прошла.
А там – «Матрона, ждут давно
Вас дети и дела».

2 июля 1947

Прощай

Прощай! Как верно в этот раз
без горечи и без прикрас
звучит прощальный мой привет,
и лжи в нем нет, и правды нет.
Да... было всяко. А теперь

лишь грустно мне. Вот эта дверь
однажды скрипнет (место есть),
да кто войдет в нее – Бог весть,
в лицо глядеть, колени гнуть...
Не все ль равно? Изныла грудь.
Так тяжело мне, так тошно мне
в далекой этой стороне.

И улыбнусь, и погляжу,
да правды больше не скажу.
Себе слеза. К себе слова.
В свои ладони голова.

2 июля 1947

«Холодные волны, соленые волны...»

Холодные волны, соленые волны
глаза застилают, туманят глаза...
А все же я жизнью премного довольна.
Покойна, и нет мне дороги назад.
И сердце мое не боится известий,
не ждет, не тоскует, не сходит с ума.
А если немного оно не на месте,
его я на место поставлю сама.
О как все равно мне, в нем холод крещенский,
тоска ли о прошлом, глаза ль, голоса...
А слезы в подушку – от слабости женской.
Я знаю, что девичьи слезы – роса.
А скажут мне вдруг, что мы песенку спели,
что он не дождался желанного дня –
совсем я утешусь. Вы утром в постели
уж слишком спокойной найдете меня.

Июнь 1947

Довольно!

Это жизнь, приказавшая: «Хватит!»,
это ветер грядущего дня.

Он задушит, закружит, подхватит
унесет и оставит меня.

И пойду я к неведомой доле,
замедляя стремительный шаг.
Это жизнь моя! Воля! Раздолье!
Это ветер, поющий в ушах.

И всегда за моими плечами,
краше счастья и горше беды,
милый хищник с шальными глазами
цвета мутной озерной воды.

Я шепну ему вдруг о надежде
на иные, на старые дни,
и они посветлеют... Ведь прежде
так внезапно светлели они...

Июнь 1948

Душа одна...

Душа одна – и не тоскует,
никто ладоней не целует,
не душит смех, не жжет слеза,
светлы, как день, мои глаза,

мой снег блестит, мороз крепчает,

и сердце радостно дичает,
и ветер юности моей
опять со мной на много дней.

Осень 1948

Вслед циклу «Поединок»

Вере Алексеевне Пычко

1

Вот и все... Так просто и нестрашно,
только меркнет милый белый свет.
День мой грустный, радостный, вчерашний,
знать, тебе возврата больше нет.

Сердце старше – жизнь зато короче...
Стоит быть однажды молодым,
чтобы вечно помнить две-три ночи
да жестокий папиросный дым!

2

Табачный дым, табачный чад...
О как виски мои стучат!
И лучше сразу умереть,
чем знать про все, что будет впредь.

И жизнь без завтрашнего дня
так странно радует меня.
Над неоконченной строкой
суровый отдых и покой.

1948

Из любви и беды (1956–1964 гг.)

Движение

Как просто – жить. Как это грустно,
что просто жить, что все пройдет,
что все пройдет и ляжет грузной,
напрасной памятью – про тот,
про этот день... Воды в природе
приход, уход, круговорот,
по новым руслам – и по моде,
на землю – и наоборот.
Волнам плескаться об утесы,
дождям и ветрам, всем семи, –
о совмещенные удобства
любви, базара и семьи,
корысти, страсти и коварства,
точащих землю, как кроты,
Отечества – и Государства,
Косметики – и Красоты...
Все нерушимо, все едино,
неотделимо от лица,
все бережет свои седины,

стоит на месте до конца:
так мелко, словно бы на блюде,
так глубоко – не видно дна,
а волны бьются, волны бьются...

Но пробивается одна!

Отрывки из поэмы «Отцы и дети»

*И вечный бой!
Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль.*

А. А. Блок

Первый отрывок

Ты, с закрытою раной,
без пути, без свободы,
моя молодость странная,
мои «лучшие» годы.

Наша юность задавлена
то войной, то тюрьмою,
наша радость затравлена,
нас пустили с сумою.

И глядели овечками
и «сынами Отчизны»,

схоронясь за словечками,
что на «ство» и на «измы».

И все были невинными
и событиям покорны,
не мозгами, так спинами
шевелили проворно.

Мы ровесники вычурным,
сумасшедшим событиям,
ничего нам не вычеркнуть,
ничего не забыть нам.

И с рыданиями, с хохотом,
и в лохмотьях кровавых
полетит над эпохами
наша нищая слава.

И за горькою шуткою,
за наружным спокойствием,
беспримерное, жуткое
и глухое геройство.

Второй отрывок

И снова древний скифский конь
летит! И снова нет покоя,

и всадник светлую рукою
нам посылает свой огонь.

По обнажившимся ветвям
и по наклоненным колосьям,
в дожди насвистывая, осень
идет, все теплое мертвя.

И радость вянет и мельчает,
и над родимой нищетой
до боли хочется молчанья
и ласки тихой и простой...
Боль и безумье в сердце смятом,
вражда людей и смерть трудов,
печальный пепел городов,
и в гибель превращенный атом,
и разоренный мой очаг,
отец мой с профилем библейским
и мать моя с печальным блеском
в прическе темной и очах.

Зовет, зовет нас вдаль огонь,
мой жребий избран и испытан.
«Куда ж ты скачешь, гордый конь,
и где опустишь ты копыта?..»

«Из любви и беды, постепенно...»

из любви и беды, не спеша,
из беды, как Венера из пены,
из беды вырастает душа.

Сад-земля, весь округлый и душный...
Раскаленное солнце печет...
Из беды поднимаются души,
клейкий яд по стеблям их течет.

Говорят, что и мед убивает,
если дал тебе меду дурак...
Пейте ж яд сей, хоть горько бывает,
когда мудрые яд свой дарят.

«Зимний полдень, вечер летний...»

Зимний полдень, вечер летний
и весенний птичий гам –
каждый день, как день последний,
подношу к своим губам,

потому что нет надежды,
нету власти у меня
тленные сбережь одежды
убегающего дня.

Потому что чую снова,
как, скрывая свой испуг,
словно птица, бьется слово,
вырывается из рук,

чтоб в окно – и за террасу,
в поле, в море, в города,
ускользнуть – и затеряться,
затаиться навсегда.

И лишь мир морочить, тонко
и пронзительно звеня
в млечном голосе ребенка,
пережившего меня.

Радость

Я иду по траве, и роса мои ноги омыла.
Я плыву по воде и качаюсь на тихой волне,
я гляжу и дышу. И какая-то светлая сила,
и какая-то светлая радость сияет во мне.

Ну, пророчь мне кукушка! Трещите,
лягушечьи трели!
Гасни, гасни, мой месяц, ты, белый
надкушенный плод!
И дыханье окутывай, жуткая, влажная прелесть,
этот запах земли, этот дух от дремучих болот.

Человеческий мир и природы таинственный
почерк, –
все открыто и внятно, все знаю и вновь узнаю,
и поет моя радость, душа ненаписанных строчек,
о непрожитых днях недопетую песню свою.

Силой равная солнцу, что верной землю гордится,
в блеске мысли и веры и в чистом сиянье мечты,
будь прославлена Радость, одна, из которой родится
светлый гений открытий и лирики строгой цветы!

Подругам

Мы совсем не героини:
если грустно нам, мы плачем,
мы кричим, когда рожаем,
мы любимых обижаем.

Мы совсем не героини:
и веселая девчонка
над влюбленными смеется,
и беднякам достается.

Мы совсем не героини:
и румяная невеста
станет женщиной усталой
с побледневшими устами.

Мы совсем не героини:
когда пол в квартире моем,
когда косим и молотим,
и белье в реке колотим.

Мы совсем не героини:
Мы растрепаны и потны,
руки красны, ноги голы,
и подоткнуты подошлы.

Мы совсем не героини:
те, кто любят нас, все видят:
и морщинки, и седины,
и застывшие слезинки.

Но кто любит нас, тот видит,
как из тучи солнце выйдет,
солнце с дождиком и с ветром,
с ясным ликом, станом светлым,
руки те, что обнимают,
те глаза, что понимают,
ту бесстрашную свою,
что с ним рядом храбро бьется,
злой судьбе не поддается,
над невзгодами смеется
и собою остается,
неустанная в бою,
что в печали рядом встанет,
из огня тебя достанет,
из воды тебя спасет,
из-под пули унесет!

Мы совсем не героини...

Ода стирке

А может, в том-то и дело,
чтоб взять эту грязную кучу,
швырнуть в холодную воду,
потом в горячую воду?
И вот закипает пена,
ворчит вода и сверкает
эмаль, и сверкают руки,
и машут белые крылья,
и пахнет утюг паленый,
и теплой горой ложатся
одежды для человека.

А может, в том-то и дело,
чтоб черное сделать белым,
чтоб грязное сделать чистым,
и лживое сделать честным,
и щедрым – что было черством,
и делом – что было чувством.

«Когда руки мои стихнут...»

Когда руки мои стихнут
и глаза мои умолкнут,
прослыву поэтом стирки,
стихотворцем полемойки.

А читатель с тонкой кожей,
он поэзии поклонник,
обонять ему негоже
запах кухни и пеленок.

Что ж поделать, что ж поделать,
мое строгое начальство,
если бродит дух по телу,
не желая разлучаться.

Половина нашей силы
и успеха половина
ходят ножками босыми
по промытым половицам.

И в ответ на нежный лепет
вдохновенными губами –
раздается: «Мне бы хлеба!
Мне бы чистую рубаху».

Мои руки, зная лиру
с благородными струнами,
в мясорубке режут ливер,
и тряпье они стирают,

и бесстрашно ищут рифмы,
слыша песни лад короткий
мои уши в треске рыбы
на горячей сковородке.

Зайчик солнечный забегал,
на промытых стеклах замер
(уточняю ритм запева,
проверяю стих глазами).

А теперь поставлю точку
и, поевши без разбору,
я поглажу платье дочке
и поеду на работу.

Таянье снегов

Приходит таянье снегов.
Сырой тревогой воздух пахнет,
и серый небосвод распахнут,
и капли капают с него.

Срок истекает – спрос живет:
исполнит жизнь, что обещала,
или легко и обнищало
умчится между рыжих вод?

«Под голубыми небесами...»

Под голубыми небесами
шумишь зелеными лесами,
блестишь водой, сверкаешь льдом,
людским украшена трудом.
Под злым лучом, под ветра свист
дрожит и вянет тонкий лист,
падет и снова выйдет семя,
и цвествь ему наступит время,
два раза день зарей украшен,
добром и злом налиты чаши,
минуты быстрые таят
то горький мед, то сладкий яд.
И жизнь кончается, когда
мы слишком много знаем сами
про землю страсти и труда
под голубыми небесами,
где жажды больше, чем питья,
где радость светлая твоя,
ничем не купленная, кроме
седых волос и алой крови,
где отчий прах и милый дом,
и где, добытые трудом,
хлеб и вода, и зелень грядок,
где дым отечества так сладок,
что, ненавидя и скорбя,

кладем мы жизни за тебя!

Как отдать?

Я умная, любимая. Пишу
хорошие слова. Читаю книги.
Живу – не надышусь, не насмеюсь,
не наживусь. Живу и не старею.
И вот такая, я иду вперед.
В лицо мне ветер и мороз – вперед!
Упругим шагом по снегу – вперед...
А девочка горбатая – навстречу.

Я умная, красивая, смотрю
веселыми влюбленными глазами
на старенькое, нищее лицо,
еще не понимая, что случилось.

Но мне навстречу – жалкие глаза,
ее больные, тихие глаза,
все знающие, древние глаза –
в мои глаза. Но что же вы хотите?

Зачем вы боль вливаете в меня,
пронзительную боль – своим вопросом,
пронзительным, как крик? Зачем вам я?
Я ничего тут не могу поделать.

Вот если б я могла тебе – возьми!

Отдать все, чем богата я, – возьми!
Возьми всю радость, и любовь – возьми!
Возьми! – Я сразу выстрою другую.

Но ни к чему наш странный разговор.
Ты б и хотела взять, но ты не можешь,
а я хочу и не могу отдать,
и мы с тобой расходимся навеки.
Но я иду все дальше, все вперед!
Без красоты, без чуда, но вперед!
Никто меня не любит – но вперед!
Без молодости, без судьбы, без веры
я, ставшая тобой, иду вперед!

Наивность

Борису Чичибабину

Все понимать – вовек не вынести.
Все видеть – непосильный крест.
Ты не суди мою наивность,
спасительный и легкий жест.

Прост суп – зато не простывает.
Садись к столу, прости изъян
чадолюбивой, простоватой
и сострадательной к друзьям.

Не презирай, что я глупила,
что снова глупости мелю,
и не смотри в мои глубины:
сама глядеть в них не люблю.

Но гаснет день, лишь в том повинный,
что был, как все другие дни.
С моей второю половиной
вдруг остаемся мы одни.
Тогда учу свою наивность
лететь, глядеть, сжигать мосты;
все понимать, все знать, все вынести,
и быть собой, и крест нести.

Время сеять...

Время сеять и время собирать:
собирай, собирай понемногу,
ковыляй, припадая с бедра
на больную, распухшую ногу.

Ничего, что устал, ничего,
что болит, умирает... Ты снова
из беды, из любви, из всего
высевай и выращивай слово.

Как дорогу, ты песню тяни,
строй, хоть град на ней ямы повыбил,
в путь отправь свои ночи и дни,
и друзей и любимых погибель.

Вспоминай все слова, все дела:
про Урал, Ленинград, про Житомир,
собирай, как собирает пчела,
мед и воск твоего прожитого.

И споют твою песню, не зря
забывая, где была, а где небыль,
в час, когда проступает заря
на седом, на серебряном небе.

Баллада о нас, ваших детях

*О чем ты успел передумать,
Отец расстрелянный мой...*

Б. Окуджава

Мы не такие! Не такие,
как замышляли вы, любя!
Всплыв, когда вы нас потопили,
как полюбили мы себя!

Что в мире нашей жизни терпче,
когда на свой дневной парад,
раскинув флаг, скрывая течи,
выходит в море наш корабль?

А мы, избравшие законом,
чтобы не плакать, не пенять,
завидя берег незнакомый,
его готовимся понять.

На руль мы руки налагаем,
со смехом тяжести влачим,
слова, которыми вы лгали,
мы сроду больше не кричим!

Смертельный бой наш тих, нежарок,
и мы «Варяга» не поем,
мы просто песню Окуджавы
из уст в уста передаем.

Не просила!

Не просила, чтоб рожали,
не кричала: «Дайте жизнь!»
Темень темную разжали,
дух вдохнули, сердце вжали,
записали на скрижали
и сказали: «Ну, держись!»

Кто б хотел вслепую драться,
о прощении моля?
Разбирались до меня,
разбирались без меня,
мне сначала разбираться.

Неужели я устану?
Не доплыв, пойду ко дну?
Возле финиша отстану?
Ленту грудью не рвану?

Не узнаю, пав на ринге,
чем он был? Чем будет он?
Мне б еще немножко риска...
Что смеешься, чемпион?

Я ж не плачу, я ж не жалюсь,
я ж в пути, как Вечный Жид...

Не просила, чтоб рожали ж,
не кричала: «Дайте жизнь!»

Моему читателю

Я не хочу пятнать печаль,
терять лицо,
соединяя боль начал
и ложь концов.

Пусть лжет безногому костыль,
больному – врач!
Кто верит в жизнь, кто строит быль,
пусть будет зряч.

И пусть, кто юн, и пусть, кто слеп,
не смел, не зол,
поймет, что горьки знанья хлеб
и мысли соль.

«...А МОЗГ ЖИВЕТ ОТДЕЛЬНО...»

от торопливых тел
среди дневных, постельных
и разных прочих дел.

В днях, от событий плотных,
вестей, страстей, словес,
он, академик, плотник,
и по морям пловец.

С утра ладонь в работе,
выгруживает хлеб.
С утра душа – в походе,
а он – за нею вслед.

Увидит – не поверит:
трудясь, ища, свища,
разнимет и проверит,
даст имена вещам.

Зрак тупости округлый
своим лучом слепя,
он вдруг поднимет руку
на самого себя.

Душа сгорает в уголь

или как смерть, бела,
а он забьется в угол
и смотрит, как дела.

И смотрит. А не сможет,
устанет, наконец,
он сам вам в руки вложит
свой яд или свинец...

Два стихотворения о себе

1

Ох, и шатко, ох, и валко –
ветер в руки – и держись –
происходит эта свалка,
именуемая – Жизнь!
Так, что суд твой и начальство
не поймут в тебе ни зги,
так, что рвут тебя на части,
так, что делят на куски,

так, что сбрасывают в кучу
и сжигают в ней дотла
между средних, среди худших,
твои лучшие дела.

И лишь нехотя ты хочешь,
лишь в ночи тебе тепло,
лишь в душе своей находишь
свое Болдино-село.

Но тогда – пускай из рабства –
останавливаешь миг,

подымаешь снова радость,
обновляющую мир.

2

Все правильно и просто
в делах моих земных:
стоят у нас по росту
пять щеточек зубных,
от техники домашней
дуреет голова,
из стульев захромавших
вылазит трын-трава...
Вот, коченея с ветра,
шагая широко,
иду я на край света
учить учеников.

Поникшие заборы,
пустые деревца,
заботы, ах, заботы,
заботы без конца.

Я встречный. Я прохожий
в море площадей,
все у меня похоже,
все так, как у людей.

Но только вот – из быта,
взломав свой сундучок,
вдруг вынырнет избитый,
забытый двойничок.

Заводит – как комарик,
крепчает – как орган!
Пожар – его фонарик,
платочек белый – рдян.

Опять всеильный, гордый
в веревочку совет,
возьмет меня за горло,
потребует свое.
...Вот так и тянем ляжку
среди семи кругов.
все ищем, где бы слямзить
еще часок-другой,
и каждая преграда,
и каждая «ничья»
твердят, что жизнь прекрасна
и что она нища.

«Нет благодати мне. Слова мои глухи...»

Нет благодати мне. Слова мои глухи,
скучны реченья радостного духа.
Скользят мои неслышные стихи
мимо врага, а паче мимо друга.

И жизнь блестящая, таимая во мне,
которой душно здесь, и сумрачно, и тесно,
взрываясь бомбой, стелется вовне
неощутимо, тихо, бестелесно.

Нет благодати мне. Зачем же я стучусь
в те неизменно запертые двери,
зачем же тщусь, зачем надеждой лыщусь,
зачем же, разуверясь, снова верю,
что близок час, когда, рукой подать,
ко мне сойдет святая благодать?

Разговор с моей судьбой

Бог! Не бунтуй! Все равно тебя, Бог,
я запрягу в свой нехитрый возок,
ты будешь, взнузданный, в нем бунтовать,
я буду песню свою напевать.

Так мы поскачем, помчимся, взовьемся.
Может, когда-нибудь вправду споемся?
Нет? Не судьба ты, а старая кляча,
прочь от меня, спотыкаясь и плача.

Что ж ты вернулось, несчастье мое?
Или тебе без меня не житье?
Не улыбайся, не льсти и не лги,
знай, мы с тобою навеки враги.

Но позови – и навстречу я выйду.
Пусть ты несешь мне удар и обиду,
пусть ты с презрением, с сумой да с тюрьмой,
Бог! Не бунтуй! Все равно будешь мой!

«Зачем глядишь так пристально?..»

Зачем глядишь так пристально?
Ведь мы с тобой, сам-друг,
укрылись в тихой пристани
от всех житейских выюг.

Клокочет чайник синенький,
как верный ручеек,
на кухне для пустынников
всегда готов чаек,

гудит машинка швейная,
как некий добрый зверь:
надежная, семейная
защита от потерь.

И ветры в дом не просятся
зайти на полчаса,
и тихо так доносятся
людские голоса.

А думать будем после мы,
когда пойдут дожди.
Цыплят считать по осени...
Прищурься. Подожди.

««В этой маленькой корзинке...»»

«В этой маленькой корзинке
есть помада и духи,
ленты, кружева, ботинки –
что угодно для души».

Путь мой долгий ли – короткий,
день богат или убог –
в этой маленькой коробке
вперемешку – быт и Бог.

В этой маленькой заначке
что спрячу – сохраню:
очень странные задачки,
очень разные меню.

Поворачиваю тонны,
безоружна, налегке –
в этом круглом, в этом темном
в этом странном сундуке.

Из податливого воска
жизнь прекрасную леплю
в этой старенькой авоське,
где дышу я и люблю.

Сине море

Вот и снова после сна я
обрела себя, живую:
в честь чего, сама не знаю,
потихоньку торжествую.

Над потерями глухими?
Над болезнями? Над горем?
Дураку вода в графине
обернулась синим морем.

Вздел на пальчик он колечко
перемен и поколений,
и теперь ему, конечно,
сине море по колено!

Как оно нас ни качало –
подросли сыны и дочки:
можно все начать сначала,
с этой качки, с этой точки!

«На сером снеге – черный грач...»

На сером снеге – черный грач,
так значит, каяться не будем?
Конец зиме, не плачь, не прячь
любовь к веселью, нежность к людям.

Не так уж страшно, ты пойми,
не так смешно, давай поверим,
не так уж стыдно быть людьми,
когда закончен счет потерям.

Когда сведен и замкнут счет
печатьми: горечь и усталость –
осталось кое-что еще,
не так уж много, но осталось,

и даже хватит до конца,
коль бережливо, коль с растяжкой,
делясь веселием лица,
последним хлебом и рубашкой.

«Кто сказал, что мечта воспаленная...»

Кто сказал, что мечта воспаленная,
обожженная, обделенная,
униженьем своим обозленная,
зывается «любовью неразделенною»?

Если так, значит, мало любил,
значит, мало любил, значит, плохо любил,
значит мало и бедно, и плохо любил,
значит, не до последнего вздоха любил.

Не сумел ни увлечь, ни зажечь, и не сжечь,
Не посмел даже рядом прилечь.

Если так, значит, бедно и скупо любил
и не мил,
и не нужен ты был.

«Когда кромсаешь ты, звеня...»

Когда кромсаешь ты, звеня,
сталь на моей надежде,
ты убиваешь не меня:
я человек, как прежде.
Что человек? Он будет жить,
возьмет взамен любое.
А вот любовь его лежит:
расправились с любовью.
Но, грустно память теребя,
он все как будто должен,
и жаль ему – тебя, тебя,
кого не любит больше.
Вся боль растрочена, мертва,
засох на ранке бинтик.

Любите тех, кто любит вас.
Любите. Не убийте.

Никогда

«Умная и хитрая душа...»

Умная и хитрая душа,
ты лукавишь, ты желанья прячешь.
Там прибавишь, там переиначишь,
и себя обманешь, не спеша,
умная и хитрая душа.

Умная и хитрая душа!
Можно ль от себя отгородиться?
Долго ли собой тебе гордиться,
ложью и невинностью дыша,
умная и хитрая душа?

Умная и хитрая душа!
Дым страстей глаза твои застелет.
Правда сердца прямо в сердце целит,
ум сломив и хитрость сокруша,
глупая, нехитрая душа...

«Я не зову любовью чувство...»

Я не зову любовью чувство,
что ты мне близкий человек,
и чудо нежности, и чудо
спокойной верности – навек:

лишь назови – и встанут тени
над горем и смятеньем двух,
и сломлен оскудевший дух:
тебя поставит на колени
обидной страсти маята
и жизни грустная тщета.

А так – попутны наши звезды,
хоть друг от друга далеко,
и в чистой жизни – чистый воздух,
которым дышится легко.

Дай имя близости прекрасной,
нелегким словом назови,
не погаси любовью ясный,
простой и добрый свет любви.

«Кругом шумят сады...»

Кругом шумят сады,
морской прибой высок,
мы вышли из воды,
мы бросились в песок.
На коже солнца боль,
блаженна и груба,
и волн пахучих соль
осталась на губах.
В прозрачной синеве
сияют и гремят
их музыка и свет,
тепло и аромат.
Их пеньем юг согрет,
у них свои права,
они тепло и свет,
им не нужны слова.

А нам слова нужны:
мы не назвать должны
любовию – любовь.
Нам нужно много слов.

«Большая дорога. Сияющий снег...»

Большая дорога. Сияющий снег.
Далеко-далеко идет человек.

Я счастье свое тебе брошу под ноги.
Я молча уйду с твоей чистой дороги.
В печали застыну, как в белом снегу.
Но разве я этим тебе помогу?

«Желтеют листья, всходит озимь...»

Желтеют листья, всходит озимь
и год спускается во тьму,
но я запомню эту осень,
сестру терпению моему.
Так беспощадны и так кратки,
с печатью знания и конца,
горят трагические краски
ее отважного лица,
так страстно продолжает повесть,
конец которой всем знаком,
удар дождей ее и посвист
багрово-золотых знамен.

«Все та же комната: те же стены, и те же окна...»

Все та же комната: те же стены, и те же окна,
все та же, все та же комната.

Все те же стены, и те же окна, и тот же
несчастный дождь.

Все та же боль, как детский плач, как зимний
дождь, как утро без счастья, боль знакомая, –
и это правда. Лишь это – правда, а все
остальное ложь.

Сейчас я встану! Сейчас очнусь, отгоню!

Сейчас, сейчас это кончится!

Заговорю, засмеюсь, работать стану, поеду, поем,
и нехотя, медленно, постепенно снова жить

мне захочется:

телу – тепла и ласк, и лепета, хлеба –

зубам, мысли – мозгам, а поэту – о, поэту – поэм!

Зачем я живу, еще буду жить? Зачем моя боль?

Зачем моя радость и мужество?

Зачем держусь, и опять держусь, и делаю

жизнь по складам,

зачем любить мне, еще любить и опять любить,

и опять смеяться и мучиться,
раз это ложь, все это – ложь? А правда
осталась там,
все в той же комнате...

«Никогда, никогда, никогда...»

Никогда, никогда, никогда
не отнимешь поля от хлебов.
Никогда, никогда, никогда
не разрознишь деревья с листвою.
Никогда, никогда, никогда
волк не станет кормиться травой.
Никогда, никогда, никогда
не насытишь словами любовь!

Если б море утратило дно,
если б в кровь обратилось вино,
если б мы с тобой стали одно,
пусть единственный раз, все равно,
без борьбы, без тоски, без стыда!
Никогда! Никогда! Никогда!

«Ты ушел далеко и надолго...»

Ты ушел далеко и надолго,
и не взял с собой, и нельзя с тобой.
Но без ведома и без надобы
тихо следую твоим следом я.

Ты почувешь дуновение странное,
но не видишь, не знаешь, что – прохладой в зной –
на твой жаркий день опустилась тень
от большого и жестокого странствия.

«Прощальные каракули...»

Прощальные каракули...
Плыви, плыви, кораблик!
Там облачка обманные,
там звезды колесом...
Плыви, кораблик маленький,
за синий горизонт!
Прощайте, лето быстрое
и тихая зима,
и ты, моя забывчивая,
веселая земля!
Прощайте, реки гладкие
и пенные моря!
Лети, моя Галактика,
к потерянному миру!
Лети, лети, скитайся,

Стыд – все глубже!

Нет, не любимый, не любовник –
вся суть моя, как дух без тела,
томилась долго, билась больно,
оторвалась и улетела.

А я путей твоих не вижу,

а я забот твоих не знаю.

Я не умею стать поближе.

Я только женщина земная.

«Не хотелось мне день начинать...»

Не хотелось мне день начинать
с его стуком, движеньем, едою.

Не хотелось мне день начинять
суматохою и ерундою.

Но, конечно, настал и гроши
мне подал, и засохшую булку
все за то, что не смею грешить,
не хочу отступиться от буден.

И на волю не вырвется бунт,
присмиривший, подернутый тиной,
и не скажет, мгновению: «Будь
песней, выдумкой, книгой, картиной!»

«Ах, сила бродит, сила бродит...»

Ах, сила бродит, сила бродит,
не расточить, не подарить,
а годы вроде, время вроде
совсем другое говорит.
Несу по жизни руки, ноги
и тело глупое несу.
На верной и прямой дороге
я заблуждаюсь, как в лесу.
И безрассудно жжет, не грея,
то нетерпение и блеск,
когда впотьмах уронишь гребень –
и мигом вырастает лес.
Когда меж делом, между речью,
заслышав басенку одну,
из рукава достанешь речку,
нырнешь с разбега – и ко дну!

«Будет буря!..»

Будет буря!
Нет, не будет.
Будет буря.
Нет, не будет!

Я приказываю буре,
чтобы не было ее.
Я держу руками сердце,
я в руках его сжимаю,
и опять выходит солнце,
и приходит тишина.

А кому она нужна!

«Зову я смерть. Не потому...»

Зову я смерть. Не потому,
что горько сердцу моему
плоды скупые пожинать
и старость молча поджидать.
О нет! Горит, огонь тая,
семью цветами жизнь моя.

Но униженье как снести?
Сказать любви своей «прости»
и встретить жизни лед и твердь
и жить, и жить?.. Нет, лучше смерть,
в расцвете сил, в пылу, в огне,
чтоб все жалели обо мне!

«То радостный буйствует разум...»

то слеп он, и глух он, и нем.
Печаль убивает не сразу,
вот в том-то и дело, что нет.
Она к тебе мирно приляжет,
прильнет и опять отохнет,
то камень за спину привяжет,
то снова его оторвет.
Сильнее затягивай петлю,
клади свою злую печать,
не медли, не медли, не медли,
бери меня сразу, печаль!
Тогда мы побьемся с тобою
по чести – один на один,
и выйдем живыми из боя:
ты раб мой, а я – господин.

«В осенний вечер комнаты глухи...»

В осенний вечер комнаты глухи,
а за окном во тьме разверзлись хляби.
В осенний вечер пишутся стихи,
и пьется чай, и слушается Скрябин.
С деревьев мокрых мирная листва

срывается, прощаясь с небесами,
и странны сердцу страсти и слова,
что лишь сегодня жгли и потрясали.

«Закон я знаю радостный и древний...»

Закон я знаю радостный и древний,
что сад не погибает на ветру,
что зацветут опять мои деревья
еще не раз, покуда я умру.
Вновь грянет боль, и снова сила стерпит,
и солнце ветви тихо отоплит,
и сок плодов, неподслащенный, терпкий,
живую чью-то душу утолит.

Любовь

Тебе холодно, милый?
Тебе холодно, маленький?
Твое платье промокло, и пламя костра
угасает, а сам ты дрожишь, застываешь.

Задувает, ворочает ветер варяжский
головни на огне, и последняя ветка сырая
догорает, и нечего бросить в костер.

Я кладу свою руку. Тепло?
Это пламя по ней потекло.
Посмотри, как играет багровый костер.
Нет, не бойся, не больно, я рада.
И все это – правда!

Я сжигаю себя по частям. И листает костер,
мои плечи и пальцы.
Прости, не смотри.
Здесь не будет парада.
Я сгорела. Зато ты согрелся.
И все это – правда.

Дилетанты

I

Едва опомнясь от станка,
от кухни или трепа,
пошла писать твоя строка,
придумывает тропы.

А беспорядок здесь каков!
Какой тут беспорядок!
Меж стульев, рюмок, каблуков,
лирических тетрадок,
среди туманных, но весьма
драчливых убеждений...
Ах, беспорядок! Бес ума!
Безвольник и бездельник!

Давайте сами на себя
посмотрим без парада:
назвали мы его «судьба»,
а он был – беспорядок!
И это он – тот самый меч,
расчетливый и ловкий,
которым нам рубили с плеч

невинные головки!

А кто сберег – хранит для шляп...

Привыкли, видишь, с детства
ни пить, ни есть, ни размышлять –
все в зеркало глядеться...

Уединенья строгий блеск,
задумчивости лупу
подарит ли нам жизнь, о бес –
порядочные люди?

Скорее нет! И старый визг
привычек и приказов
нам вместо слов: остановись,
мгновенье, ты прекрасно!

II

Пьяный пыл пошел по рожам,
отказали тормоза.

У пророков, у пророчиц
помутневшие глаза.

Гениальность разной масти,
каждый с вечностью на «ты»,
и бунтует пьяный мастер
против пьяной красоты.

Мастер мощен, мастер молод,
рад, что родом из мужчин,
дух его тревожит голод

размышляющих машин,
ну, а дева – просто Ева:
слезы, слабости, белье...
И кладет одною левой
каждый под ноги ее.
Я не враг их злого пыла,
ну – и пира, ну – и драк,
было то и это было,
все бывало да не так!

Прошлый век в них, что ли, умер?
Душу отнял бес-фаюм?
Мастер, мастер, где твой юмор?
Остроумец, где твой ум?
Плотный дух валит и душит
слабость – рыжей бородой.

Где ж твое *великодушие*,
мастер, мастер молодой?
Что есть совесть? Что есть счастье?
Скажешь, песенка стара?
Так зачем по этой части
ты подался в мастера?

Дидактический романс

Мой друг идет по терниям,
он что-то потерял,
он ходит как потерянный...
Ходил и повторял:
«Я что-то потерял?»»

Терял он грусть и радость
и много дел и слов,
но как зеницу ока он,
но возле сердца, около,
берег, лелеял разницу
между добром и злом.

Он песни пел доверчиво,
он камни покорял...
Но вот однажды вечером
увлекся красноречием
и как-то потерял.

Судите, разве весело
в полете ли, в пути,
без этой малой толики,
вот так, без равновесия
по легонькой, по тоненькой,
по жердочке идти?

Мой друг идет по терниям,
он что-то потерял,
он ходит как потерянный...
Ходил и повторял:
«Я совесть потерял?»»

Ах, не давайте ризницу
души своей – на слом!
Ах, не теряйте разницу
между добром и злом!

«А ларчик просто открывался...»

А ларчик просто открывался:
открылся – зазвенел!
Поднимут туши от кроватей,
проснувшись, сто свиней.
Наставят уши, станут слушать,
ворча, залетный звон,
и тут же выплеснут из лужи
визг первобытный свой,
что, мол, приятней, в этом жанре,
звон нежный в кошеле
и что свою свинину жарить
способней в тишине.
Поднимут туши от кроватей,
поколыхают жир...

А ларчик просто – открывался,
не мог закрытым жить!

Сказка с диалогом

Живет поэт: слегка рассеян,
и светлоок, и чернокудр,
а рядом с ним живут соседи, –
творцы блинов, убийцы кур.

Поэт свои поэмы пишет
единым росчерком пера –
соседи к вечеру чуть дышат
от снеди, съеденной с утра.

Когда же утром, в общей ванной
они встречаются, скользя, –
презреньем и негодованьем
полны их лица и глаза.

Он: – Взамен души в них бес корысти,
а вместо мудрости – живот!

Они: – Вот голодранец! Без корыта,
и без кастрюльки – а живет!

Он: – Зачем дано им сердце, руки,
мозг и божественная речь?

Они: – Вы знаете, он даже брюки
не снимет перед тем, как лечь!

Он: – Свет человеческий и гордый,

неужто ты навек погас?
Они: – Опять не гасит свет в уборной
и забывает в кухне газ!

Два войска проверяют фланги,
высоко головы держа,
и ветер ссоры треплет флаги
непримиримых двух держав.

«Нет, хоть убей, не понимаю...»

Нет, хоть убей, не понимаю,
до тупости, до немоты,
как в этом мире, в этом мае
сосуществуем Я и Ты?

Я, полунощник и поденщик
в саду любви и красоты,
и ты – насильник, ты подонок,
растлитель затаенный – ты.
Как в час, когда я рад ребенку,
когда меня ласкает кров,
ты выстригаешь под гребенку
всю жизнь, смывая с пальцев кровь,

и как мои большие руки,
кругом в мозолях от мотыг,
не одолеют той науки:
найти и стиснуть твой кадык!

Как я опаздываю на автобус

Слеза замерзает, а то бы
намок задымившийся ворс:
ушел из-под носа автобус, —
до дому одиннадцать верст.

Зачем рукавицей махала,
бежала почти что под ним?
Зачем пожилому нахалу
глазком подмигнула одним?

В потемках дрожит, самолетом
маячит в морозной пыли.
Ах, холодно, жаль самое-то
себя: обсмеяли, ушли.

Пока ты готовишься, горбясь,
обиду и холод терпеть,
твоя подымается гордость
и даже старается петь.
Вот так:
тара-рам, тара-рам, пам,
плевать мне с высокой горы!
А дома зеленая лампа
на столике желтом горит.

А дома мне тапки согрели,
а дома я скину пальто...
А скоро, веселым апрелем,
сама я не сяду в авто.

Вот так я иду. И при этом
к тебе, кто несчастен и лыс,
к тебе обращаюсь с приветом:
не злись, товарищ, не злись,

опять, отлетав и оттопав,
в поход торопись и в полет,
и если ушел твой автобус,
пускай твоя гордость поет.

Вечер

Я люблю это время, когда
радиатор теплом заструится,
замерцают уютные сумерки,
заморгают глаза тишины.

Я люблю этот вечер труда,
умолканье строки и страницы:
к завершению движутся сутки,
и на всех заготовлены сны.

Я люблю этот час, когда дождь
по асфальту с оттяжкой лупит,
когда мерзлая снежная пудра
заносит твердеющий наст...

Никуда-никуда не пойдешь.
Никогда-никогда не наступит
нищета несчастливого утра,
в ненастье влекущего нас.

Дети

Знаете вы, как смеются дети?
Просто смеются, радуясь смеху,
радуясь радости, радуясь воле,
птицам, цветам и сиянию солнца,
голосу, топоту и движенью.
Плещутся в ветре. Вдыхают запах
листьев, горячей травы и влаги
и, оглядев удивленным взглядом
светлое лето свое, смеются!

Видели вы, как танцует мошка
в узеньком столбике знойной пыли?
Слышали, как распевает птица,
ввысь устремляясь, за верной песней?
Знаете вы, как смеются дети,
ляясь и звеня, воплощая в смехе
радость земли и ее надежду!

Помнишь, тебя разбудил среди ночи
крови и нежности тихий комочек?
В каждый твой мускул и в каждую складку
он проникал так дремотно и сладко.
Помнишь, сплетались в борьбе и усилье
счастья и боли тяжелые крылья.

Билось, терзало, на волю хотело,
тело рвалось из распятого тела.
Помнишь, как вырвалось звонкое тельце,
красное – в белое полотенце.
Миг – и сияет немеркнувшей искрой
воля, и вера, и труд материнский.
Пьет он твой сок, твою теплую влагу,
мысль и любовь, и красу, и отвагу,
и расправляет окрепшие плечи
в блеске и в радости сын человеческий.
Глянул вокруг – и доволен остался
миром открытым – и вот засмеялся!

Знаете вы, как смеются дети?

Кукла

Ватный ком на ватный ком,
ручки, ножки круглые...
Потрудились мы с сынком,
смастерили куклу.

А теперь мы скажем так
всем друзьям на свете:
начинается спектакль,
приходите, дети!
Все умела, все могла
эта наша кукла:
чай пила и пол мела,
и в ладошки стучала.

И – при ватной голове –
песни пела соло,
как хороший человек,
добрый и веселый.

Наши гости с ней поют,
хлопают, хохочут,
а один из них надут
и глядеть не хочет.

«Разве это кукла?»

Это ж просто пугало!»

Не печалься, отойди,
но дружить с ним бойся:
от такого ты не жди
ни добра, ни пользы,
если вырастет большой
и останется такой.

Не утешит никого
и не позабавит,
ничего он своего
людям не оставит.
Так и будет жить весь век,
занятой и пухлый.
Люди скажут: «Человек
или, может, кукла?!»

Осторожно! дети!

Шел автобус так и сяк,
солнышко на свете.
Но висит дорожный знак:
«Осторожно! Дети!»

Как кораблик, он поплыл
по волне дорожной,
потому что знак тут был:
«Дети! Осторожно!»

Осторожно! Из пелен
улыбнется с лаской
и возьмет тебя в полон
чистота и слабость.

Осторожно! И пронзит
взгляд живой и синий,
палец тоненький грозит
самой сильной силе.

Осторожно! И правей,
и левее – дети,
все, что делаешь, проверь,
можно лучше делать.
Осторожен будь и смел

днями и ночами:
подрастает смена смен,
суд твой и начальство!

И сквозь солнце, и сквозь мрак
пусть в пыли дорожной
каждый видит тот же знак:
«Дети! Осторожно!»

Ребенка древние глаза

Ребенка древние глаза,
глаза отцовские и ваши,
их взгляд, дремотный, дымный, важный,
он испаряется скользя.

Улыбки... Краски... Голоса...
исчезли! Рот кривит обида!
Вдруг закрывается обитель.
Спят под ресницами глаза.

Орет, проснувшись, зол и груб.
Бунтует, пленник и хозяин.
Бей кулачками в глаза им!
Хвать воздух, воду, соску, грудь,
обман, любовь – и сыт на вечер,
и смолкла гневная гроза.
Смеясь, разглядывают вечность
ребенка древние глаза.

В дому моем...

В дому моем, как в цирке,
чудя, вертясь, поя,
ах, клоуны-эксцентрики,
потеха вы моя!
Весь день – для трудных странствий,
весь день – от вас вдали,
в неласковом пространстве
от неба до земли.

После своих походов,
изранившись, устав,
вхожу к вам потихоньку,
со смехом на устах,
и шарю: где он, ключик,
чтобы открыть на миг
мир куколок и клюшек,
ваш неподдельный мир.

Забыла я, забыла,
как девочкой была,
какое горе было,
что кукла умерла!
И сколько оснований:
честь, сила и покой –
мир объяснять словами

«хороший» и «плохой».

Торг

Была судьба моим вассалом,
и, вплоть до нынешнего дня,
от стольких бед, любя, спасала
неосторожную, меня.

Приняв из мира слов и крови,
из песен тех, что он певал,
о, как тепло родного крова
меня ласкало наповал!

Сквозь ненависть, корысть и ругань,
ни разу не плутая в них,
о, как повсюду нежность друга
меня отыскивала вмиг!

О, как бог радостей семейных,
запутавшись, где свет, где тень,
творил, дыхание замедлив,
глаза и смех моих детей!

Вся, вся в долгах, вся прожитая,
но – хоть потрогай – во плоти,
все жду, все жду, все ожидаю,
когда прикажешь: уплати!

За взглядом моего ребенка
с надеждой, с ужасом слежу...

Я отработаю работой!

Собачьей службой заслужу!

Назначь, какая будет плата
(тоской, потерями, трудом),
чтоб брат повсюду встретил брата,
и дом был Мир, и Мир был дом?

Зима

Где сугробы-терема,
в блеске трубы рыжие,
и трамваи, и дома,
что белеют крышами?

Где там север ворожит?
Где заночевал еще?
Невозможно больше жить
без зимы, товарищи!

Подождет, помучает
и посыплет тучами,
легкое, летающее,
на ресницах тающее.

Утром выйдешь, весь в тепле –
город в тихой свежести,
в ярком блеске, в дымной мгле,
в радости и в нежности!

Ноги сразу твердые,
тело сразу ловкое,
словно ветер, бодрое,
и как выюга, легкое.

Рдеют щеки, кровь тая,
жгут глаза лучистые,
и твое второе «Я» –
лучшее и чистое.

Снежным городом идет,
дышит и волнуется,
и сосульку в рот кладет,
пробегая улицу.

Весна

Изъезжено, исхожено,
во всей
красе,
стремглав из-под окошечка
летит
шоссе.

Летит шоссе на Киев
и на
Ростов,
а веточки нагие
пришли
в восторг,
что так прекрасен день их,
велик,
высок,
что их листва оденет,
наполнит
сок.

Теплом насквозь пронизаны,
сплетая
взор,
влюбленные,
приникшие, —
во весь
опор!

А волосы щекочут,
летят,
скользят.

– Чего

ты
хочешь?

Нельзя! Нельзя!

– Твой гнев
притворен
и твой
испуг...

Окна
притворенного
короткий
стук, –
и мчится
страсть их,
летит,
как смерч,
как сон,
как счастье,
как жизнь,
как смерть.

Лето

Что скажешь ты, холодная вода,
шершавой губке?
Что скажешь, загорелая нога,
шуршащей юбке?
О чем бормочешь, делая излом,
речонка-лента?
Как победитель, празднично и зло
сверкает лето.

Маслины пахнут пряно и остро.
В поту рубашка.
Горишь, как ветка в пламени костров,
пьешь, как ромашка,

спишь, как кленок, что засухой сражен;
рассвет нагрывает –
и, как клинок из золотых ножен,
луч солнца ранит.

Ну что, жива? Речному ветерку
скажи спасибо.
Живи. Желай. Беги скорей в реку:
река – спаситель.
Плыви, плескайся, плюхайся, пляши,
брыкайся, брызгай

и на смиренном солнце полежи,
накрывшись брылем.

Осень

Я иду по осени:
с кленов листья падают,
тихо-тихо по сини
перья тучек плавают,
тихо-тихо листики
под ногой похрустывают,
тихо ветер низенький
гладит ветки хрупкие,

тихо сбросив сон ночной,
мир стоит, решенный,
синий, желтый, солнечный,
полный, заверченный;

наклоняется ко мне
и звенит чуть слышно:
– Что, ты думала, конец?
Просто передышка.

Чужое горе

Л. Кагану

Мне говорят: «Живи в покое,
чего тебе недостает?»
Но горе глупое, людское
меня повсюду достает.

Я не ищу: оно находит
меня и сроку не дает,
и рядом ходит, рядом ходит,
и слезы льет. И в сердце бьет.

Я не могу уйти от горя,
я не умею жить одна,
как не умеет жить без моря
в нем закипевшая волна.

«Что – с малостью жизни моей...»

что – с жалостью, с робостью, с ропотом,
что сделаю я для людей,
для синих очей твоих, Родина?

Что – душу из воска слепив:
из мягкости, мудрости, музыки?..
Что – зрячая против слепых?
Что – нервы и дух – против мускулов?

Но спрячусь в тебе и спасу
и горбясь от раненой гордости,
как дом черепаший, снесу
с собой – твои радости, горести...

Шажком черепашьим – вперед,
по строчке, по букве, словами все...
По капле – чернила и пот
с твоей синевою сливаются.

Правда

...Но песня не согласна ждать!

Э. Багрицкий

Я знаю, жизнь моя лишь веха,
судьба – лишь искра от огня:
не я «шагаю в ногу с веком»,
а век проходит сквозь меня.

Вот он идет: ликует, ропщет,
рождает в муках и болит,
и я клонюсь, когда он топчет,
и я лечу, когда велит.

Чиня поломанные крылья
и клея зеркала куски,
одолеваю срам бессилья,
освобождаюсь от тоски...

Ну, что ж! Судьбе своей я рада,
хотя я знаю: явь ли, сон
мне не дадут увидеть, Правда,
твое прекрасное лицо,

но, слышишь, ждать не хочет песня,
и вот я окунаю вновь

тобой оброненные перья
в текущую из сердца кровь.

Новочеркасск

Прямо против их глаз автоматы стояли.
Прямо в дула кричали глаза «пощади».
Тихо корчились дети и слабо стонали,
и машины смывали их кровь с площадей.

И бежала та кровь до «потемкинских» лестниц
по примятой буденновской рысью траве,
и впадала в моря из январских и ленских,
всех мужичьих, рабочих, горячих кровей.

Сердце – лишняя тяжесть. Зачем его носим?
Мне беспмятных дней, и бесстрастных ночей,
и бестрепетных слов подари, моя осень,
утешеньем согрей мой домашний очаг.

Унеси меня в тихий поселок рыбацкий,
чтоб глядела я мирно из дальних далей
на Советскую власть, что стреляет в рабочих,
и на светлую память твою, Мавзолей.

Русская сказка в трех частях

«Живет народ, не тужит...»

Живет народ, не тужит:
вечернею порой
бежит народ со службы –
и глядь – стоит герой.
Под снегом ли, под градом,
в разорванном пальто,
и говорит, что Правда –
вот то-то, мол, и то.
Кто глянет – усмехнется,
кто молча отвернется,
а он свое твердит,
ни перед кем не гнется,
спокойствию вредит.

И молвил правый суд:
он шарлатан и шут,
над ним все люди добрые
досыта потешаются,
слова его пудовые
в ушах не помещаются...
В ушах не помещаются,

в мозгах они мешаются
и строго воспрещаются.

Вот снег покрыл его лицо,
и смерть взяла его в кольцо,
и никого с ним рядом:
лишь месяц молодой...

А он: Эй, люди, Правда –
вот то-то, мол, и то.

«Живет народ, не тужит...»

Живет народ, не тужит.
Под вечер ли, в обед
бежит народ со службы –
уже героя нет.
Никто души не берedit,
никто покою не вредит.

А только снятся ночью
глаза его недобрые,
и в голове ворочаются
слова его пудовые.
Стоит герой, хохочет,
а помирать – не хочет.

«Тут рады ли, не рады...»

Тут рады ли, не рады –

еще выходят сто:

– Ребя, не смейся: Правда –

вот то-то, мол, и то!

Сказка о силе и соломе

Слушай сказку, милая,
разуй свои валенки.
Жили-были большая Сила
и Соломинка. Маленькая.

Сила Солому ломит,
Солома гнется,
а Сила гневается,
что Соломинка не сломалась,
и все ломит Солому, за славой гонится,
пыль поднимает и ветер,
а Соломинка
гнется,
гибнет,
гниет,
но не ломится!

Кто лучше, мама?
Кто сильнее?
И кто нужнее на свете?
Сила
или
Соломинка?

Лермонтов

*Проснешься ль, наконец, осмеянный пророк.
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножен
не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?*

«Кинжал»

Побудь-ка с нами, мальчик статный,
иронизируя и злясь,
с лицом тоскующим и странным,
с печалью слов и мраком глаз.

На тех, чьи строки розовеют,
чьи излиянья – теплый душ,
отвержен, гневен, разуверен,
ты взгляд свой сумрачный обрушь.

Когда ты знал, что скрасить нечем
тоску и стыд своей души,
словам безрадостным навстречу
ты шел и был неустрашим.

Так что ж кинжал твой – вновь игрушка,
зачем же правнуки твои,

упрятав головы в подушки,
отвергли славные бои?

Неужто только бодрым маршем
и болтовней по мелочам
ответить можно будням нашим,
коротким дням, скурым ночам?

А дни бегут. А годы тают.
Все ярче свет. Все меньше снов.
И горьким мыслям не хватает
холодной, крепкой стали слов.

Слова, слова! Как вас руками,
руками голыми возьмешь,
когда вы твердые, как камень,
когда вы острые, как нож,

когда вы таете, как сахар,
когда вы вьетесь, как змея,
когда в тяжелых ваших лапах
дней уходящих острия...

Но ты, поэт, и ты, прозаик,
словам слуга, словам хозяин,
что ж ты в стране лукавым гостем?
Зачем твой гордый голос стих?
Зачем молчит железный стих,
облитый горечью и злостью?

Люблю некрасова

Когда
 страдают люди,
 что им
слова напрасные,
штык, не иглу им, – дыры штопать.
Люблю Некрасова.

Когда обида жжет и губит –
ударь, не спрашивай.
Беду и боль душа не любит.
Люблю Некрасова.

Когда страда – не ожидают
ни сна, ни праздника,
горшки не боги обжигают.
Люблю Некрасова.

И как ни красьте стих дешевый
словами красными,
люблю! Вы слышите, пижоны?
Люблю Некрасова!

Спор об искусстве

1

Не ври, не ври, здоров, не болен
свою судьбу благодари,
ешь хлеб и мясо. Будь доволен,
и лишних слов не говори.

Люби жену. Лови ночами
ее дыхание у щек.
И так, в терпенье и в молчанье
будь жив: чего тебе еще?

Эпохе под ноги травую
стелись, перемогая боль.
Зачем так горько и тревожно
искусство плачет над тобой?

Его бессмысленная сила
вдали от рабства и от зла
так высоко тебя носила
и никуда не унесла...

Под лязг железный, звон кандалный,

сквозь стон отцов и сыновей
поет неожиданно и скандально
смешная птица – соловей.

2

Смотри, здесь корень чуда,
здесь чуда корешок.
Не говори: все худо! –
все будет хорошо!

Скажи, художник,
всем ли дается унести
свою большую землю,
как яблоко в горсти?

С ней говорить и слушать,
переливать в тиши
в ее большие уши
тревожный гул души.

В ее большие руки,
свисающие вниз,
дать найденные руды
с железом мысли в них.

В ее большие губы,

твердящие азы,
вложить жестокий,
грубый, карающий язык.

Вот над землею милой
румянится заря.
Неужто это мимо?
Неужто это зря?
В ее большие груди
Влить молоко любви.
Иначе мы не люди.
А надо быть людьми.

3

Давайте делать жизнь
по своему подобию,
на части разложив,
упрямо и подробно.

Из подлых мелочей,
нам захламивших душу,
из мыслей-малышей,
дрожащих, только дунешь.

Сгорая и боля,
из старого, родного,

истлевшего белья
давайте делать снова.

Горит наш детский рай,
трещат его основы,
в который это раз
всё начинаем снова?

Давайте делать так,
товарищи-поэты,
на мужества костяк
наращивая это.
Кладя любовь и мысль
(в начале было слово),
давайте делать мир
в который раз – и снова!

Тактика

Расправив крепкие зады
и мускулы литые,
выходят стричь свои сады
садовники лихие.

А потерять на этом деле
голову – обидно.
Я наклонюсь – на бренном теле
голову – не видно.

Они минуют мой баштан,
и в яркой оболочке
опять мотается башка
на тонком стебелечке!

Виталию брохштуту

Пижон с глазами тоскующими
в заломленной шляпе серой,
скажи мне, скажи, какую еще
мы выдумаем химеру?

Погневаемся, поплачемся ль,
а все себя не обманем:
собой мы, собой расплатимся
за тихий кукиш в кармане.

Миры, созревая, рушатся,
мгновенье равняя с веком,
летим мы, летим и кружимся,
как листья слетают с веток,

лежим, шуршим, пожелтевшие,
а рядом чернеют комли,
и дерево облетевшее
стоит и о нас не помнит.

Биография

Ко мне пришли друзья с таранками,
с раздутой сумкой на боку.

Дарили дерзкими талантами
и дули пиво на бегу.

Вот так мы жизнь свою печатаем
и неумело издаем...

Во всех углах, где мы печалимся,
смеемся, спорим, устаем,
на всех путях – покрытых гравием,
и тех, где сломит ногу черт, –
подстерегает биография:
все изменяется, течет...

Я ехала к тебе на поезде,
снега на горочки легли...

Я ехала к тебе на поиски
в решетки спрятанной любви.

Тогда все было только начато
в земном приветливом раю...

Я ехала к тебе. Я начисто,
в трудах писала жизнь мою.

И завтра, может быть, в вагончике
путем знакомым покачу.

Забьется жизнь моя в агонии,

ударит вечность по плечу...

Пока – антракт. На пену дунули –
и пьем. Зажгли нас – мы горим,
и если думается – думаем,
а если видим – говорим!

Леше Пугачеву

«Встревожено...»

Встревожено,
встревожено,
как на ладонь
положено,
движеньями
предсмертными
дрожат
его предсердия,
нагое,
откровенное,
ногами
окровавленное:
топтали –
не затоптано,
«так-так», –
бормочет, теплое,
и синие
сосудики
вспухают
красной
сутью...

«А, Вы опять рисуете?
Рисуйте, рисуйте...»

«Вчерашняя прачка...»

Вчерашняя прачка
и праведница,
за песни запрячу
я краски лица.

Все дружбы и драки
дробя и двоя,
тревожит и дразнит
гитара твоя.

Рожденные ползать
взлетают – и вниз,
где подлая польза
взывает: вернись!
Где в тесных коробках
напичкан, набит,
тупой и короткий
свирепствует Быт.

Где жизнь как пригожий,
приманчивый грош...

Но вот ты приходишь,
гитару берешь...

От рук твоих диких,
от злого плеча
стучат ее деки
и струны кричат!

Где пляшем, где плачем,
где песни поем,
и чем мы заплатим,
узнаем потом.

Опальный, опасный
взлетает огонь,
а пастыри – паству
блюдут из окон.

Карболкой заляпана,
гаснет луна.
Как бомба,
Земля
под ногами
у нас!

Стихи о терпении

...Тень, бегущая от дыма.

Ф. Тютчев

«Я осторожна и не очень...»

Я осторожна и не очень
люблю заглядывать во тьму,
но я запомню эту осень,
сестру терпению моему:

так беспощадны и так кратки,
с печатью знания и конца,
горят трагические краски
ее отважного лица,

так страстно продолжает повесть,
конец которой всем знаком,
удар дождей ее и посвист
багрово-золотых знамен.

«За плотно закрытой, обитой...»

За плотно закрытой, обитой
молчанием дверью души,
с тобой мы столкнулись, обида,
круши мое сердце, круши!

Покажешься маленькой ростом,
покажешься тощей, нагой,
как гаснущую папироску,
тебя я прикрою ногой.
Но снова хватаешь за корни,
все выше ползешь за стволом,
и кормит душа моя, кормит
обиду за красным столом.

Вот нечего жечь тебе, пекло,
и некого бить тебе, бой,
а мне надо жить среди пепла,
который был нежность и боль.

«Я вспыхнула в последний раз...»

Я вспыхнула в последний раз
бунтом.

Поет, горит, не молк, не гас
будто.

Его вином – мне хлеб залить
пресный,
любовь покорную запить
песней.

Мне оставаться – ей уйти,
горбясь.

Дар одинокого пути –
гордость!

Так нож, сверканием маня,
режет.

Ты не разнежила меня,
нежность.

В душе от кротости, от ласк
мокро.

...Как волка ни корми, он в лес
смотрит!

«Все голо. Мир, ты нелюбим...»

Все голо. Мир, ты нелюбим.
Любимые, вы нелюбимы.
Не надо было голубым,
не надо было мне любым,
не надо было мне с трудом,
с терпеньем украшать свой дом,

не надо было красить дым.
Ни дом, ни дым, ни тень от дыма...

Имею право пренебречь.
Имею право отвернуться.
Мир зачеркнуть пожатьем плеч.
И непонятной сделать речь.
Заснуть.
И даже – не проснуться.

«Вся юность отдана тебе, пространство...»

Вся юность отдана тебе, пространство,
и дан тебе суровый дар такой
излечивать меня от постоянства,
одну тоску сменять другой тоской.

Езда, ходьба, звонок судьбы – и встреча...
Прощание, короткая слеза...
И снова в путь! И снова ветер треплет
мне волосы и сыплет пыль в глаза,

ревет простор, и сырость ноги лижет,
и дождь сечет лица усталый шелк.
Как жить, мне нужно быть к тебе поближе,

но ты проходишь. Ты уже прошел.

И песню напевает ветер странствий,
и мысли навевает четкий шаг,
что вместо счастья мне дано пространство,
взамен любви – шум скорости в ушах.

«Храни свой разум. Да пребудет светлым...»

Храни свой разум. Да пребудет светлым.
Не отпускай, удерживай, лови,
пока недуг с тебя, как ветер с ветки,
сшибает листья жизни и любви.

Не отпускай, пускай еще послужит!
И – ночь прошла, пора уже вставать.
Пока живет он, ясен и послушен,
ты будешь на земле торжествовать.

Вот рухнул ствол, так яростно пилимый,
снесла вода, умчали поезда...
Но посмотри, растет твоя былинка,
горит твоя пылинка, как звезда!

Предсказание

Кто это? Кто?
Под будничной косынкой
и в будничном пальто,
все в сторону косится,
все делает не то.
 Неуклюжая,
 неумелая...
 Неужели я?

За плечами годы –
золото, зола?
За плечами горы
добра и зла...

Стой, оглянись!
Нет!
Все тянет вниз,
на красный свет.
Бежишь настырно,
а ноги стынут:
пирог, стирка...
Упадешь – стыдно.

Дети скучают
(ведь дети они),

сидят за чаем
всегда одни.

Разве угнаться?
И не гонись ты,
пора уняться,
угомониться.

Но...
Вот слово одно.
...Какое оно!
Как вино...

Совесьть мучит.
Работа ждет.
Без вина скучно,
а вино жжет.

Так и будет. Голая
между двух дорог
разобьешь голову
о порог
двух твоих судеб.
Так и будет!

Сентябрь 1962

Все – как было

Все – как было.
Все – как будто я жива:
тот же дом мой,
та же дочь я
и жена.
Приумыв
и уложив своих детей,
не страдаю,
не считаю я потерь,
но газету я листаю
(новостей!),
и без страха
я ложусь в твою постель.
А проснувшись,
тоже знаю, как мне быть.
Рыбу – в воду!
(Руки – в дело,
душу – в быт!)
Те же гости.
Те же песни,
имена.
Все – как было.
Только нет во всем
МЕНЯ.
Мирно-мирно

я гляжу на этот бред.

Может быть,
меня
и в самом
деле
нет?

Сентябрь 1962

«Не ждите верности...»

Не ждите верности –
все равно изменю
пришедшему дню,
идущему дню,
назойливому богу,
отцовскому порогу,
горящему огню:
говорю вам, что изменю
всему – в моей судьбе
быть верной самой себе!

Когда рождается песня на свет,
не ждите верности, ее уже нет:
ведь это песня!
Она не служит
ни силе,
ни славе,
ни случаю,
ни страсти,
ни судьбе,
а только,
только
себе!

«Вот два моря, вот берег коричневых щек, и упругий...»

Вот два моря, вот берег коричневых щек, и упругий,
звонкий шаг твой, и сам ты, и сам ты,
красавец и щеголь!

Вытри руки свои о мои загорелые руки!

Вытри щеки свои о мои загорелые щеки!

Вот две вишни смеются, две ветки на дереве тонком,
одуванчик на двух стебельках – а головка сквозная...

Ах, чему вы смеетесь, чему вы, мальчишка с девчонкой?

Ах, чему вы? Не знаете – я это знаю.

Вот окончится путь, его долгие трудные версты
все пройдете, его долготу и труды измеряя –
и тут все, что прошли, этот слой, разноцветный
и толстый,

вдруг откроется вам, и заплачете вы, замирая.

«Мой долгий день! Он начался...»

Мой долгий день! Он начался
с шести часов утра.
Он вырвался! Он начисто
забыл, что есть «вчера».

И он летит, разбрасывая
себя во все концы,
и он транжирит, празднуя,
что нажили отцы.

И вот, летящий, полный,
неутолимый весь,
он замечает к полудню,
что надо бы присесть,
одеться нужно – холодно,
а он раздетый, голый,
и надо бы поесть
то, что припас, что есть...

Тут хочется – не хочется,
а все-таки живешь,
всю жизнь свою по строчечке,
по корочке жуешь.
И бьешься так, что пот блестит,
на горьких тех хлебах,

и не хватает подлости
уйти, не расхлебав,

что спутано, накручено,
похоже – не спасти,
а надо как-то к лучшему
насильно привести.

А поседеют прядки,
остынет голова –
останутся в тетрадке
слова, слова, слова.

Примите их, примите,
не дайте им сгореть,
уронят – поднимите
еще раз посмотреть.

Случай

Когда меня не будет,
лет через двести,
смотрите сами, люди:
этот садик будет
на этом самом месте.

И будет случай:
на склоне дня,
снегом увенчана,
выйдет женщина,
такая, как я,
только лучше,
счастливей меня.

Выйдет, посмотрит,
выдохнет тихо.
Мех на ней мокрый,
в перчатке льдинка,
брови дрогнут
под белым платком,
лед она потрогает
теплым языком.

Глаза ее большие
полны серебра,

глаза ее решили
весь сад забрать.
В каждом – по деревцу,
маленькому-маленькому,
в каждом – по девочке,
в каждом – по мальчику.

А снег по воздуху
так тихо ползает.
Смех и возглас:
«Гляди-ка, скользанка!»

И она думает:
«Лет через двести
ваши умные,
красивые дети
на этом самом месте,
быть может, ответят,
хотя бы отчасти,
что такое счастье
и как жить на свете».

А метель крутит
и губы студит...
Вот так и будет,
когда меня не будет.

«Страна, где каждый сам за себя»

«Глазами, по мне скучающими...»

Глазами, по мне скучающими,
посмотрел и сказал:
«Ну, ладно, налейте чаю:
уже пора на вокзал».

Я знаю, как мучит жажда,
глаза миражом слепя,
но мы в Стране, Где Каждый,
Где Каждый Сам За Себя!

«Я говорю Вам братски...»

Я говорю Вам братски:
со мною было то же.
Проделать путь обратный
никто Вам не поможет:
лицом бросаться в ворох
страстей, но не прощать,
и душу взяв за ворот,

«тащить» и «не пущать».

Как вылить воду горстью?
Вода бунтует вешняя!
Как выдернуть тот гвоздик,
на чем любовь повешена?

Смотри, гляжу я браво,
рубцы, где были раны,
плечам опять – до брани,
ногам опять добраться
до шпор и до сапог...

Я говорю Вам братски,
что больно до сих пор!

«Небитых двух за битого...»

Небитых двух за битого
дают, а Вы забыли.
Живите Вы. Любите Вы,
не как меня любили.

Я ж не просила полночи
и шепота до света,
а я просила помощи,
покоя и совета.

Не надо слов любовных,
не надо «обожать»,
и – нет, я не виновна,
не надо обижать!

«Ты прав: зачем опять твердить, что молод...»

Ты прав: зачем опять твердить, что молод
ты, и твой шаг упруг, и мускулы грубы,
и мне ль не знать, что неустанен молот,
долбящий жертву у тебя в груди.

От униженья отряхни колени,
и пылью всех дорог глаза запороши,
не видь, не слышь, не помни, не колеблись,
и песен не слагай, и писем не пиши.

«Прощайте! Ну, прощайте!..»

Прощайте! Ну, прощайте!
Я не желаю счастья:
прохлады и пощады,
как это дно песчаное,

как темный лес с ключами,
как озеро с лещами,
как облако с дождями...

Ну, выходи с вещами!

«Меняю кожу, как змея...»

Меняю кожу, как змея,
и поднимаюсь, не своя,
вся новая и вся чужая,
забыв себя и унижая.

Но машет прошлое хвостом:
«Я не о том, я не о том!
Как здесь не прибрано, как зябко...
Молчу! Не бей меня, хозяйка!»

«Да» или «нет»

«Нет!» Неистовый привет
разрушения и бунта,
он врывается, как будто
в темноту – фонарный свет.

На единственной струне
песню тонкую заводит
и гуляет по стране:
по полям и по заводам.

Напевает и манит
зло, и яростно, и слепо
«Нет», бумажник без монет,
закром в засуху без хлеба...

«Да!» Холодная вода
и горячая похлебка.
Разделенная беда.
Знак заботливый и робкий
вмиг проникнет сквозь огонь
и сквозь запертые двери
«Да!», творящая ладонь:
кто полюбит – тот поверит.

«Куда тебя запрятали...»

Куда тебя запрятали –
в далекий уголок,
сожгли, сожгли, истратили
горячий уголек.

Как будто голос вынули:
ни крикнуть, ни запеть.
Куда тебя задвинули!
Как бабушку за печь...

Усталая и праздная,
едва-едва дыша,
в графу под грифом «разное»
ты списана, душа.

Гаси надежды проблески,
гаси, ведь суть не в них,
когда пробиться пробуешь
сквозь пыль забот дневных,

ослабшая, пасующая,
зачеркнута судьбой,
сама себя спасающая,
спасаемая собой!

Робость

Грызешь меня, робость.

Средь белого дня
считаешь мне ребра,
свергаешь меня.

Ах, долгие ночи
с тобою вдвоем,
да звон одиночества
в пенье твоём!

Зачем меня душишь,
свиваешь в клубок?

Я ж помню, как душу
мне вылепил Бог!

Без платья, без грима,
горячая голь,
презренная глина –
да вечный огонь.

А лепет, а ропот
не слышит никто.

Все ты, моя робость:
«не так» да «не то».

Я ж знаю, как Пушкин,
что значат слова...

Безудержный путник
на век и на два,

застывшая люто,
иду к январю,
но – с робостью – людям
свое говорю.

Поехали, поехали...

– Поехали, поехали... поедem далеко,
туда, где реки быстрые приносят молоко,
где манна с неба сыплется, где каждый цвет – в меду?
где мы бывали, помнится, в котором-то году...
В дороге отоспимся мы, в дороге отдохнем,
а там, куда приедем мы, все сызнова начнем,
все сызнова и новое, и с нами не шути,
поскольку все готовое... Готовое... Почти...

Почти-почти готовое... Но стойте! Как же быть?
Здесь ничего не новое! Здесь нечего любить!
И надо нам немедленно, не счесть до десяти,
понять все, что скрывается за этим вот «почти»...
– Смотри, какие яблоки на яблонях висят!
– А знаешь что? Поехали... поехали назад!
В дороге отоспимся мы, в дороге отдохнем,
а дома все мы сызнова, все сызнова начнем!

– Но если все такое вот, как ты поведал нам,
Зачем, зачем же ехать нам, и что нам делать там?

– А вот зачем: дорога! Дорога далека!
И новая надежда! И новая тоска!
В дороге отоспимся, в дороге отдохнем,
а там, куда приедем – все сызнова начнем!

О нежности к друзьям

Вот опять ты от нуди, от лжи, от усталости валишься,
вот опять он, сгоревший, свой дом предает топору.
Нет, не надо, не надо, мои дорогие товарищи,
мои братья родные, не надо, я вам говорю.

Глажу я ваши раны. Гляжу на них с грустью и робостью,
на горячую кровь я холодный снежок порошу.
Моей родины радость! А радость без боли не родится.
Ради радости – боль принимаю и «больше!» прошу.

Наши дети заглянут в холодные очи учебников,
чьи слова им ответят? Чьи лица? И чьи голоса?
Кто? Чиновник заклятый? Делец? Солдафон?
Или честные,
повидавшие правду и зрячие наши глаза?

Расскажи им, поведай (а если не можешь – проваливай!)
Прозвени в свою медь, протруби в свою злую трубу,
как мы жили на свете. Как собственной кровью
крававили
красный цвет на плакатах и красные сукна трибун.

Вот и все. Разве мало? Разве мы умирать не приучены?
Разве грустен роман? Разве дешев конец? Разве плох?
Что ушла наша жизнь и вошла в эти песни плывущие,

В ПОЛЫХАНЬЕ ПОЛОТЕН И В ПЛОТНУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОТЬ.

Растерянность

Бежать? Не выйдет!
Пред небом – крыша,
порожек – в сенцах,
стекло – в окне:
есть очи – видят,
есть уши – слышат,
прибавьте сердце,
оно во мне.

Была из радости,
из вольной воли,
цветки срывала
в своем лугу,
а против рабства,
безумья, боли
я спасовала,
я не могу.

Томитесь, любите,
огнем горите
в крутом снегу вы,
в глухую ночь,
молчите, люди,
не говорите,
я не могу вам

ничем помочь.

Одни приходят,
жалеют, учат,
летят все выше,
сильны, чисты,
другие шkodят,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.